

уральский

следопыт

№9**** 1978



Линогравюра С. КИПРИНА (г. Свердловск).

в номере:

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО



СЛЕДОПЫТСКИЙ ТЕЛЕГРАФ	2
Б. Челышев ШТРИХИ ВЕЛИКОГО ПОРТРЕТА	4
Ю. Борисихин «ЧТОБЫ ПРОСНУЛОСЬ СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ...»	7
Ю. Курочкин ПЬЕСЫ Л. Н. ТОЛСТОГО НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ СЦЕНЕ	10
В. Ранов ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГУ	12
А. Тумбасов ВЕНЕЦ ТАЙМЫРА	13
А. Кузнецов РУССКИЕ МЕДАЛИ	17
А. Домнин ЦАРЬ ИВАН И МОРДВА. Сказ	22
А. Махлин ПЯТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА КОНКИНА	24
Е. Назаров ДОМ НА МЫШЬЯКОВКЕ	28
Б. Зеличенко «Я УШЛА В ЗАПОЛЯРЬЕ...»	29
В. Крапивин ВЕЧНЫЙ ЖЕМЧУГ. Повесть	30
А. Матвеев ЯЗЫК ЗЕМЛИ. Продолжение	62
Л. Богоявленский ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО	66
И. Акимушкин МИЛЕЕ КОШКИ ЗВЕРЯ НЕТ	69
Л. Горюнов РЕБРЫШКИ КРЕМНЯ	72
И. Алебастров СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ЗА ФУТБОЛ	75
С. Цыпин ТУРНИР	77
МИР НА ЛАДОНИ	78
МИКРОДЕТЕКТИВЫ	80

Редакционная коллегия:
Станислав МЕШАВКИН
(главный редактор),
Муса ГАЛИ,
Алексей ДОМНИН,
Спартак КИПРИН,
Борис КОЛЕСНИКОВ,
Владислав КРАПИВИН,
Юрий КУРОЧКИН,
Давид ЛИВШИЦ
(заместитель главного
редактора),
Геннадий МАШКИН,
Николай НИКОНОВ,
Анатолий ПОЛЯКОВ,
Лев РУМЯНЦЕВ,
Константин СКВОРЦОВ,
Игорь ТАРАБУКИН
(ответственный секретарь),

Кудожественный редактор
Маргарита ГОРШКОВА
Технический редактор
Людмила БУДРИНА
Корректор
Майя БУРАНГУЛОВА

Адрес редакции:
620219
Свердловск, ГСП-353,
ул. 8 Марта, 8
Телефоны 51-09-71, 51-22-40

Рукописи не возвращаются
Сдано в набор 31/V 1978 г.
НС 11158
Подписано к печати 17/VII 1978 г.
Бумага 84×108^{1/8}.
Бумажных листов 2,62,
Печатных листов 8,8.
Учетно-издательских листов 11,6
Тираж 275 000.
Заказ 601.
Цена 35 коп.
Типография издательства
«Уральский рабочий»,
Свердловск, пр. Ленина, 49.

На 1-й стр. обложки — рис.
Е. СТЕРЛИГОВОЙ

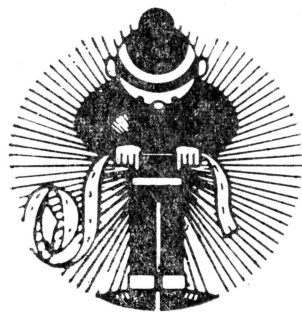
© «Уральский следопыт», 1978 г.

№9 * 1978

УРАЛЬСКИЙ

СЛЕДОПЫТ

Представители более двухсот лучших экспедиционных отрядов страны собрались в актовом зале Смольного, в Ленинграде, чтобы открыть Всесоюзный слет участников туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина — СССР». Четыреста планшетов подготовили ребята с отчетами о своей работе, на семи секциях, заслушивались доклады следопытов. В двухлетней экспедиции, посвященной XXV съезду Коммунистической партии Советского Союза и 60-летию Великого Октября, пройдены сотни километров маршрутов, открыты новые страницы революционного прошлого, стали известными новые имена борцов за Советскую власть и героев Отечественной войны. Ныне в следопытском походе участвуют тринадцать миллионов пионеров и школьников. Их находки пополняют школьные учебные кабинеты, поступают в народные и государственные музеи, над ними продолжают работу научно-исследовательские институты... Новый двухлетний этап Всесоюзной экспедиции «Моя Родина — СССР» решено посвятить 60-летию комсомола и 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.



СЛЕДОПЫТСКИЙ

телеграф



Хроника экспедиции

- Обладателя членского билета № 1 городской комсомольской организации Ферганы нашли учащиеся 13-й ферганской школы. Им оказался Григорий Петрович Кузьминов. Последние годы жизни первый комсомолец Ферганы жил в Ленинграде; школьные следопыты, приехавшие на слет, встретились с его семьей.
- Залещенские красные следопыты на Тернопольщине выполняют задание Львовского филиала Центрального музея им. В. И. Ленина. Изучая поронинский [август 1914 года] период жизни Ильича, они собрали ценные материалы и документы, часть которых передана в ленинские музеи.
- По заданиям военкоматов красные следопыты Орловщины разыскали 25 мест гибели советских самолетов, сбитых в годы войны, установили 1837 фамилий воинов, павших в боях на Орловско-Курской дуге и не учтенных военкоматами.
- Девять лет работает в Копейске Челябинской области отряд юных гидрогеологов. Школьники выполняют задания ученых — изучают подземные воды, открывают источники и родники, дополняют гидрогеологическую карту области.
- Старый снимок 20-х годов хранится в музее школы № 5 города Конговска Тамбовской области. На снимке сняты участники «живой газеты» — первые пионеры; они выступали в деревнях, рассказывали о новой жизни, обрушивались стихами и частушками на кулаков.
- Афиши, рецензии, фотографии, собранные учениками школы № 21 г. Орджоникидзе, рассказывают об истории национального ансамбля «Алан», основанного в 1938 году.
- Новый пещерный комплекс, не известный спелеологам, открыт в песках Каракумов следопытами Дома пионеров Ильичевского района Одессы.
- Почти сто человек уместилось в кадре. Снимок называется «Однополчане». Эта военная фотография представлена в музее средней школы № 1 г. Теребовля Тернопольской области. Школа ведет поиск воинов 86-го [134-го] бомбардировочного авиаполка.
- «Ребята, может, слышал кто о тепловозе, носящем имя Лизы Чайкиной!» — так начала свое выступление на слете Юля Шадрина, восьмиклассница из школы № 3 Владимиро-Волынска. Этот тепловоз сделан из металлолома, собранного учащимися школы. Музей, созданный в школе, называется «Чайка не складывает крыльев».
- Только по Сырдарье прошли 750 километров на



байдарках ребята из чимкентского туристского клуба «Романтик». Их маршруты — на Байкал, в горы Тянь-Шаня и Северного Урала. Самый интересный экспонат они привезли из экспедиции по Алтаю. Им оказалась часть стыковочного узла корабля «Союз». «Космический» экспонат хранится в школьном музее.

● Месторождение строма-толитового известняка на Урале открыто юными геологами из города Сатки. К тому времени, когда член геологического отряда Ира Проценко рассказывала об этом открытии на слете, запасы месторождения уже были обесчистаны. На известняк с ракушечным рисунком поступила заявка от москвичей: его будут использовать для строительства метро и облицовки олимпийских зданий.

● По заданию Академии наук СССР юные археологи 2-й школы города Оха на Сахалине прошли Сахалин, Приморье, Камчатку. Они открыли десять поселений древнего человека.

● Историю Красной Пресни пишут следопыты московской школы № 87. «Герои и мученики Пресни» — так называется стенд в школьном музее, рассказывающий об участниках революции 1905 года. Сегодняшний день Красной Пресни представлен образцами тканей, выпускаемых комбинатом «Трехгорная мануфактура».

● 2000 строф поэтических произведений записано в кишлаке Карамзар Ленинадской области экспедиционным отрядом «Искатель», собирающем фольклор своего народа.

● «Певец Тихого Дона» — так звали свой планшет на слете следопыты станицы Вешенской. Они пред-

ставили фотоснимки станицы, дома писателя, фронтовые фотографии М. Шолохова.

● «ТИГР» — это Турист, Искатель, Горный Разведчик. Так расшифровывается название следопытского клуба школы № 12 в Орджоникидзе. Школьники поставили себе задачу — создать летопись родного края.

● «Музей леса» — это название вполне соответствует собранию экспонатов нисской восьмилетней школы Эстонской ССР. Юные лесоводы не только фиксируют богатства леса, но и принимают участие в охране их.

● Пустое поле... Первый отряд строителей... Поднимающиеся цеха... Летопись ударной новостройки — Атоммаша — ведут учащиеся 5-й средней школы г. Волгодонска. На Атоммаше работает немало выпускников школы.

● Экспедиционный отряд «Прометей» из Фрунзе разыскал на территории Киргизии бронзовую чашу с изображением пантеры, бронзовый кинжал и другие предметы, относящиеся к скифскому периоду.

● Тайник погибших революционеров супругов Онищенко нашли ребята из 24-й школы г. Бира Еврейской автономной области. В тайнике была спрятана нелегальная литература.

● Учащиеся средней школы № 6 города Бендеры поддерживают связь со строителями Байкало-Амурской магистрали, в частности с бригадой В. Горобцова. Из переписки, которая ведется с начала стройки, ребята узнают о трудовых успехах строителей, о продвижении магистрали — они всегда в курсе дел.

● В прошлом — фабрика Торнтон

Мрачное кирпичное здание, закопченные окна... В крохотной комнатке — деревянные столы, нары, даже чугунок с ухватом... Макет барака сделали семиклассники 341-й ленинградской школы Саша Капитанский, Саша Иванов и Коля Розов. В таких бараках жили рабочие фабрики Торнтон. Ныне это — комбинат тонких и технических суконов имени Тельмана.

Сотни документов — фотографии, значки, вырезки из старых газет рассказывают о прошлом фабрики, о революционной стойкости ее рабочих; есть в музее, например, фотоснимок Якова Потапова, поднявшего в декабре 1876 года у Казанского собора красное знамя.

● Трубка актера

В какой школе нет драматического кружка? Есть он и в средней школе № 1 города Сокол Вологодской области. Кружковцы всерьез заинтересовались историей театрального искусства. И вот результат — в школе создан музей народного артиста республики Павла Николаевича Орленева.

В числе трех тысяч экспонатов хранится в музее трубка, с которой Орленев играл роль Освальда в пьесе Ибсена «Привидения». С этим спектаклем, который относится к началу сценической деятельности П. Н. Орленева, связан один любопытный эпизод.

Пьеса Ибсена была запрещена цензурой. Но актерам очень хотелось сыграть ее и они нашли выход. Пьеса была переименована в «Призраки», автора перекрестили в Андреевского... И цензура дала разрешение поставить спектакль!

После успешной премьеры вологодские политкаторжане прислали Орленеву-Освальду в подарок часы с памятной надписью. Это было высшей наградой актеру.

● Портрет Катерины Петровны

«Бабушка была отцом и матерью — всем, что есть на этом свете дорогого для меня...» — так писал в своей повести «Последний поклон» Виктор Астафьев. Ярким талантливым пером введена в русскую литературу бабушка Катерина Петровна — образ замечательный, щедрый и чистый, истинно русский характер. Героиня Виктора Астафьева по праву заняла место рядом с лучшими женскими образами в русской и советской литературе.

Портретом Катерины Петровны открывается экспозиция музея школы № 7 в селе Овсянка Красноярского края — на родине писателя.

В школе проведено одиннадцать конференций по книгам земляка. Фотографии сибирского села, родных Астафьева, самого писателя бережно хранятся и собираются школьниками. Это — и литературный музей, и музей края, способного родить могучие таланты.

Подготовлено клубом юнkers «Ровесник» при ленинградской газете «Смена»



Штрихи великого портрета

Борис
ЧЕЛЫШЕВ



Вдоль стен длинные стеллажи. Они делают мой кабинет узким, похожим на келью. И часто, устав от работы, я поднимаю голову от письменного стола, подолгу смотрю на них при дневном свете? Не знаю. Ночью же они, как и я, бодрствуют, пестрота их переплетов радует глаз. Поднимаюсь из-за стола, подхожу к книгам Льва Толстого. У каждой из книг своя история, свой путь вот к этой самой полке. Одну прислал мне со своим автографом из Ясной Поляны секретарь Льва Николаевича Толстого В. Ф. Булгаков, другую подарил еще раньше другой его секретарь и друг Николай Николаевич Гусев. Книга Толстого «Что такое искусство?» привезена из Парижа, ее читала внучка Ивана Сергеевича Тургенева. А вот эти три книги я привез из Будапешта... Есть среди них и такие, каких не найдешь ни в музеях, ни в библиотеках страны, — они уникальные. Я беру с полки редкий томик, вспоминаю его историю...

Для молдавских крестьян

Как-то зашла ко мне знакомая учительница. Принесла небольшую книжку и рассказала ее историю. Они с классом решили собрать библиотечку старинных книг. Каждый ученик должен был поискать у родственников на чердаках, в чуланах, кладовках старые издания. Поначалу ей ка-

залось, что из затей ничего не получится. Но вот стали появляться книги — потрепанные, ветхие. Среди них оказались прижизненные издания Горького, Чехова, Короленко. Ученик Сережа Бордеяну принес дореволюционное издание рассказов Льва Николаевича Толстого на молдавском языке. Правда, титульный лист был вырван, не было последней страницы. Как узнать, кто издал книгу? Я пересмотрел все справочники, пособия, но ничего об этом издании не нашел.

Работники Государственной библиотеки имени В. И. Ленина прислали из Москвы фотокопию обложки. Это оказались «Рассказы графа Льва Николаевича Толстого», выпущенные в 1908 году к его восьмидесятилетнему юбилею.

Лев Толстой пользовался большой любовью и популярностью в Бессарабии. К нему нередко обращались с вопросами учителя, библиотекари, журналисты. Еще в сентябре 1903 года, когда писателю исполнилось 75 лет, организаторы библиотеки городка Оргеева попросили его дать согласие быть почетным членом их библиотеки. Они писали ему из Оргеева:

«Высокопочитаемый Лев Николаевич!

Дирекция Оргеевской общественной библиотеки-читальни приносит своему почетному члену свои почтительнейшие поздравления с юбилеем — великим праздником земли русской. Открыв лишь недавно нашу библиотеку, мы поспешили избрать



Вас, дорогой учитель, почетным членом этого скромного просветительного учреждения, желая этим отметить основные цели его и стремления — служить завету Вашему: любить людей и внушать другим эту любовь».

И вот теперь передо мною редкая книжечка, изданная к 80-летию со дня рождения писателя. Отпечатана она была в Кишиневе, в типографии газеты «Бессарабская жизнь». На обложке Лев Толстой изображен в поле с косяю в руках. Переведены были на молдавский язык три рассказа — «Хозяин и работник», «Два старика» и «Чем люди живы».

Вот еще книжечка. Невзрачная и порыхлая от старости, она стоит на полке, зажатая между двумя старинными фоллиантами.

Как-то, будучи в Москве, я заехал в Ясную Поляну. Мне очень хотелось повидать Валентина Федоровича Булгакова, секретаря Л. Н. Толстого. До этого мы знали друг друга только по переписке.

Встретились, и, конечно, разговор зашел о Толстом, о его рукописях, редких книгах.

— Мне хорошо известно, — сказал Валентин Федорович, — что в Бессарабии до революции выпустили две книжки рассказов Льва Николаевича...

— Не две, а одну, — уточнил я. — У меня она есть. Называется «Рассказы графа Льва Николаевича Толстого для молдавской деревни». Издана в 1908 году.

— Нет, нет, — возразил он. — Была еще одна. В ней сказки Льва Николаевича и басни. Поищите ее в Молдавии.

Сколько я ни спрашивал знакомых книголюбов, сколько ни перебрал каталоги библиотек, книжка сказок и басен Толстого так мне и не попалаась. Но однажды...

Поздней осенью, в сыляоть и беспутницу, я приехал в село Киштельницу Оргеевского района Молдавии, чтоб проверить работу студентов-практикантов Кишиневского университета. И вот там, в доме, где жили студенты, в углу я увидел стопку старых журналов. Среди них — несколько книжек с оторванными переплетами. Их ждала незавидная участь: с холодными днями пойти на растопку печей. Книжки не были ни редкими, ни ценными, за исключением одной. У меня сердце замерло, как только я увидел ее. Валентин Федорович был прав! На титульном листе выцветшие буквы:

«Л. Н. Толстой. Сказки. Басни. Издание Т — Бессарабское книгоиздательство. 1917 год».

Перелистал странички. В книжке тринадцать рассказов: «Мужик и лошадь», «Дуб и орешник» и другие. Вот басня, которой открывается книжка, — «Осел и лев»:

«Пошел раз лев на охоту и взял с собой осла и сказал ему: «Ты зай-

ди, осел, в лес и кричи что есть мочи, — у тебя горло просторно. Какие звери от этого крика будут бежать, я тех поймаю». Так и сделал. Осел кричал, а звери бежали, куда попало, и лев ловил их. После лова лев сказал ослу: «Ну хвалю тебя, — ты хорошо кричал». И с тех пор осел все кричит, все ждет, чтобы его хвалили».

Я попытался узнать у хозяина, как попала к ним эта книжка, и попросил отдать ее мне. Он без сожаления расстался с пожелтевшей книжкой. Рассказать же, как попала она к нему, толком не мог: на чердаке валялась.

С тех пор книжечка и стоит у меня среди редких изданий. Сохранились ли еще такие — не знаю. Во всяком случае, на мои запросы крупнейших библиотеки и музеи страны отвечали, что в их фондах таковая не числится.

Из забытых воспоминаний

Май 1945 года. Столица Австрии Вена. Я стою на залитой солнцем площади возле величественного здания парламента с изысканно одетым человеком лет сорока пяти. Познакомились мы с ним тут же, за пять минут. Он остановил меня, спросил по-русски:

— Извините великодушно, вы — русский? — Невысокого роста, приземистый и голубоглазый, он совсем не походил на тех австрийцев, с которыми мне изредка приходилось заговаривать: — Соболаговолу пояснить, я — дворянин, сын эмигранта Мирославского.

И пока я молча смотрел на него, он рассказывал об отце, каком-то русском посланике. Речь его была особенной, слухом правильной. Так говорят лишь те, кто хорошо выучил чужой для себя язык. К тому же мелькали в его речи давно ушедшие выражения: «позволю заметить», «изволили спросить»...

— Отец мой знал графа Толстого, позволю заметить. А вот Иван Федорович Наживин долгое время жил с нами дом о дом в Брюсселе. Вы не слыхивали о Иване Федоровиче? — Он спросил об этом с тихой печалью и продолжал: — Приедете в Россию, не затрудните себя поискать его книги, особенно о графе Толстом. Там, надеюсь, найдете много поучительного. Позволю себе передать вам один случай...

Странная вещь наша память. Прошло несколько десятилетий, я забыл иностранные города, в которых бывал, позабыл людей, с которыми встречался. Но рассказ сына эмигран-

та Мирославского не ушел из моей памяти. Вот он.

Дело было зимою, в Москве. Шел по Моховой возле Манежа человек. Богатая шинель с шикарным бобровым воротником, шляпа-цилиндр. Идет неторопливо, доволен собою, счастлив знатностью, богатством. Навстречу старик в поношенном пальто с потертым барашковым воротником, шапка глубоко надвинута на голову. Смотрит сурово из-под густых бровей на проходящего. Тот высокомерно взглянул на старика и обомлел: «Батюшки! Кто же это? Неужели?»

Человек в богатой шинели быстро сошел с тротуара, прямо в снег, робко поклонился. Старик ответил на его поклон и задумчиво прошел мимо. Долго смотрел ему вслед богатч, не приходя в себя от изумления: никак не мог поверить, что так вот просто, по-будничному произошла у него встреча с гением русской культуры. Человек тот был молодой литератор Иван Федорович Наживин, старик — Лев Толстой.

Вскоре я приехал из-за границы на родину. Книг какого-то Наживина не разыскивал — к чему? А под руку они не попадали. Но в отдаленном уголке памяти так и удержался рассказ о встрече старика с аристократом.

Однажды, будучи в Астрахани, зашел я в букинистический магазин. Стою возле полок, просматриваю книгу за книгой. И вдруг... Моментально сработала память: выплыли из ее недр и Вена, и сын эмигранта с его вежливой речью, рассказом о Толстом. Книга, которую я держал в руках, называлась:

«Ив. Наживин. «Из жизни Л. Н. Толстого. С приложением нигде не опубликованных писем Л. Н. Толстого. 1911 г.

Книгоиздательство «Сфинкс», Москва».

Работники Государственной библиотеки имени В. И. Ленина прислали по моей просьбе из Москвы список книг И. Ф. Наживина, статей о нем. По старым журналам, по воспоминаниям современников я узнал, что Иван Федорович Наживин — сын разбогатевшего крестьянина-лесопромышленника. Выступал в печати в конце прошлого и в начале нашего века с рассказами и повестями. Его книги пользовались некоторым успехом, особенно в среде либеральной интеллигенции. Но сам Толстой как-то высказался критически об одной из его книг — «В долине скорби». Секретарь Льва Николаевича Н. Н. Гусев записал об этом в дневнике 18 января 1908 года:

«После завтрака Лев Николаевич сказал мне о новой книге И. Ф. Наживина «В долине скорби»:

— У него везде видно автора, он все подсказывает читателю: вот это-то надо осудить, над этим посмеять-

ся, а читатель этого не любит, читатель любит сам разбираться».

К русскому освободительному движению Наживин относился враждебно. Не поняв завоеваний революционного пролетариата, оказался среди эмигрантов. Скончался в 1940 году, всеми забытый.

И. Ф. Наживин хорошо знал Льва Николаевича Толстого, часто бывал у него в Ясной Поляне, переписывался с ним. Но он усвоил лишь консервативные стороны учения великого писателя. Потому и воспоминания его о Толстом страдают этой вредной тенденцией. Они не вошли в двухтомник «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», в тома «Литературного наследства», посвященные писателю. И все же на страницах забытой всеми, не переиздававшейся книги «Из жизни Л. Н. Толстого» я нашел детали, интересные эпизоды, в которых Толстой предстает и как великий писатель и как интересный оригинальный человек. Вот что рассказал И. Ф. Наживин.

«Во время нашей беседы Льву Николаевичу подали большую пачку писем. Тут были письма из Америки, Болгарии, с Сахалина, из Франции, с Кавказа,— буквально со всех концов земли! Было и несколько зарубежных газет, с черными пятнами статей, замазанных цензурой. Лев Николаевич усмехнулся:

— Как замазали! Боятся, должно быть, чтобы я не испортился...»

«...есть просьбы, которые, по мере возможности, охотно удовлетворялись Львом Николаевичем,— это просьбы о высылке хороших книг. Много шло этих посылок из «Ясной Поляны» во все концы России. Каким-то чудом раз тульское жандармское управление узнало, что в одной или нескольких таких посылках были книги самого Льва Николаевича, теперь запрещенные в России. Так как посылки были посланы от имени секретаря Льва Николаевича Гусева, то его через урядника и вызвали в Тулу, к ответу. Лев Николаевич тотчас же написал в жандармское управление, что Гусев только исполнил его поручение, и поэтому отвечать должен не Гусев, а он, и что, пользуясь случаем, он еще и еще раз заявляет, что он распространял свои книги, распространяет и будет распространять. Никакого ответа от тульского жандармского управления получено на это не было...»

«Стоит он раз как-то на перроне тульского вокзала,— рассказывали мне.— Подлетает курьерский поезд. Из вагона I класса выскакивает какой-то господин и торопливо бежит в буфет. За ним на площадке вагона показывается молодая дама и кричит ему вслед: «Жорж! Жорж!» Жорж

не слышит. «Дедушка, сбегай, пожалуйста, ворота того господина,— обращается барыня ко Льву Николаевичу.— Я тебе на чаек дам...» Ни слова не говоря, Лев Николаевич возвращает Жоржа даме и получает пятак. «Смотрите, смотрите: Толстой!» — слышит дама шепот на площадке соседнего вагона. «Где, где Толстой?» — спрашивает она торопливо. Ей показывают. Моментально соскакивает она с площадки: «Ради бога, граф, простите... Мне так совестно... Пожалуйста, простите!» И, сконфуженная, просит вернуть ей пятак. «Э-э, нет, пятакча не отдам! — засмеялся Лев Николаевич.— Я его заработал!..»

«От 9 час. 30 мин. утра приблизительно до 2 час. дня Лев Николаевич, как всегда, работал,— прямо изумляешься этой работоспособности восьмидесятилетнего старца! Он работал не только очень долго, но и очень много: две переписчицы едва-едва успевали переписывать то, что он им передает. Он только что закончил небольшую статью о правительстве вообще, которая едва ли увидит свет в России. Но это так, между прочим: главное его дело теперь — новая, вторая переработка его «Круга чтения», работа, которой он отдает все силы своей души...»

Его фотография

Есть в книге Наживина следующее:

«Около двух часов, умеренно позавтракав, Лев Николаевич, несмотря на недавнюю болезнь, отправился на прогулку верхом. С ним поехал, оберегая его, один из его друзей, В. Г. Чертков, как всегда, с фотографическим аппаратом: улучив удобную минуту, В. Г. делает моментальный снимок, когда Лев Николаевич часто и не подозревает этого. Благодаря этому, мы имеем теперь целый ряд превосходных портретов Льва Николаевича...»

Прочитав это, я вспомнил об одном интересном снимке великого писателя.

...Трудно сказать, было то летом или зимой, весной или осенью. Фотограф нацелил блестящий глаз фотокамеры. Выдержка — все замерло. Так в 1896 году появилась еще одна фотография Льва Толстого.

Достоевский как-то заметил, что фотографические снимки чрезвычайно редко ходят на оригиналы, так как «в редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, самую характерную мысль». Фотограф же, говорит он, «застает человека как есть, и весьма возмож-

но, что Наполеон в иную минуту вышел бы глупым, а Бисмарк — нежным».

Хотя Достоевский во многом прав, но его мысли о фотографии совсем нельзя отнести вот к этому снимку Толстого.

Просторная темная блуза открывает чуть опущенные плечи: свободная поза; пальцы рук скрещены. Усталый, какой-то вопрошающий взгляд обращен на нас. О чем думал он, когда сидел перед фотокамерой? Может быть, в мыслях проходила вереница образов из начатой драмы, или, неудовлетворенный работой, он в который раз решает: взяться снова за «Воскресение» или, может, оставить? Возможно, час тому, назад покинул он свой кабинет, где на столе лежит дневник с последней записью, странной и откровенной: «Бросил ездить на велосипеде. Удивляюсь, как мог так увлекаться». Ну что же: бросил, так бросил, ведь ему почти семьдесят лет...

Печальный взгляд утомленного человека. Но человека-бунтаря, который вот-вот гневно выпрямится и изречет полновесное слово.

Нет, едва ли скажет фотоснимок, с какими мыслями присел, опершись на столик, этот великий человек.

Но фотография есть фотография. И она передо мною. Мы с художником Васильевым внимательно рассматриваем пожелтевший лист: изучаем каждую черточку, трещинку, каждый сантиметр полопавшей во многих местах эмульсии. Ясно одно — это не фотокопия, а подлинный, сделанный еще при жизни писателя снимок, может быть, отпечатанный прямо с негатива в 1896 году.

Долгие годы находилась фотография в личном архиве академика Якова Ивановича Принца. Кочевала из города в город. В 1966 году, когда академик скончался, его вдова, Вера Александровна, подарила портрет Толстого заслуженному деятелю искусств Молдавской ССР художнику Алексею Александровичу Васильеву.

Сколько таких снимков сохранилось? Известно, что в 1902 году в Гаспре Лев Толстой подарил такой же фотопортрет своему знакомому П. В. Безобразову. В Институте русской литературы Академии наук СССР, в Ленинграде, хранится фотография Толстого с такой надписью:

«Павлу Владимировичу Безобразову. Лев Толстой, 24 июня 1902 года, Гаспра».

В домашнем музее художника А. А. Васильева в Кишиневе находится точно такой же подлинный с Толстого.



«Чтобы проснулось сердце человеческое...»

Юрий
БОРИСИХИН

После Ясной Поляны я проехал в село Коптелово под Алапаевском, где родился и вырос. Желание поехать домой было неодолимым и вариантов не имело: только сейчас и только туда...

...Что думалось, когда я миновал две белые башенки при входе в толстовское поместье (они-то единственно и узнаются из всего яснополянинского обихода сразу), когда обвевали тишина, мир, спокойствие заснеженного искрающегося пруда с глубоководными глыбами льда из аккуратно разобранной проруби, когда глянули сквозь невысокий ивнястый яблоневый сад чуть грозный, серый и приземистый дом деда Толстого — князя Волконского, и дальше, по взлобью «Прошпекта», — Литературный музей и дом самого Льва Николаевича?

Что думалось?

Сразу, с первых шагов: два века, которые существует Ясная Поляна, дают всему, что в ней, вид уверенности и прочности, особой величавости; крикливая суета жизни не смеет и не проникает сюда.

Ощутил это властно... Ясная Поляна как бы диктовала то, что обязан подумать входящий.

Вместе с тем казалось странным, почему именно эти пусть и красиво-причудливые ветлы и березы, этот простой дощатый мостик вниз, у плотины пруда, и даже крытая прошлогодней соломой кучерская вдруг с такой силой раскрепощают, побуждают к мысли о решающих и важнейших вопросах человеческой жизни... Думалось еще: вон куда ушел корнями граф Лев Толстой! По отцу — наследователь старинного дворянского рода, происходящего от «мужа честна Идриса», выехавшего «из немец, из Цецарской земли» в Чернигов в 1353 году, с двумя сыновьями и дружиной трех тысяч человек, крестившегося и получившего имя Леонтия и положившего начало нескольким дворянским фамилиям (Лев Николаевич числился в двадцатом колене от Идриса), а по матери — княжне Марии Николаевне Волконской, ведущей род от Рюрика, — в родстве и с гением России А. С. Пушкиным... (Александр Сергеевич приходился Льву Николаевичу четвероюродным дядей).

От какого же нравственного зацепа произошел великий вопрос Толстого о том, как жить человеку? Ему, графу Льву Толстому, в генеалогическом древе которого значились полководцы, начальники тайной канцелярии, придворные, представители разных видов государственной организации, пришлось идти против своей барской наследственности, против своей же «шуйцы», родни...

Мало того, Толстой вообще с самого начала отроческой жизни в своем учении идет почти один против тогдашних настроений жизни, господствующих течений...

Канцелярской науке Казанского университета противопоставляет юношеский острый скептицизм; кружку светских людей — земных героев своей повести «Казак»; помещику и барину — мужика, привилегированному и богатому человеку — нищету первых последователей Христа; затем, идеалу борьбы — непротивление злу, религиозной традиции — свою критику...

Всегда, в сущности, один, всегда сам по себе.

...Я шел хрустящим «Прошпектом». Синеватый полдень висел над садом, над темными слепыми стеклышками теплицы. Тонкий запах зимнего продуваемого леса и едкий, химический, от близкого Шекинского химвкомбината как бы сплелись, упростились; дымом съедена вся хвойная растительность парка, обрабатываются и яблоневые сады, так что те выметывают горошинные соцветия... Видел, как за оградительной сеткой пристроились красные сеялки колхоза, мучные амбары, а у входа — десятки автобусов, сотни людей.

И противилась Ясная Поляна натушке века, и не могла ничего поделать.

Да, век наступал на Ясную Поляну дымом, тракторами, автобусами, гулом реактивных лайнеров. Какая ирония! Где-то в 1903 году профессор Мечников прислал Толстому книгу «Этюды оптимизма». Главная мысль знаменитого ученого в том, что величайшее несчастье людей заключается в несовершенстве их физической орга-

низации. Это несовершенство — как бы мешки с песком на ногах. Они мешают развитию, создают преждевременную старость, наполняют жизнь болезнями и страданиями. Но средство против такого зла есть. Это средство — наука. Мечников не ставит ей никаких границ. Он считает ее способной разрешить все нужные и важные для человека вопросы и обеспечить ему на земле совершенно нормальное и здоровое существование. Он заканчивает книгу пожеланием, чтобы наука заняла первенствующее положение среди руководителей человечества и чтобы за ней были признаны свобода, влияние, власть. Но вера в науку казалась Толстому чрезмерной и ни на чем не основанной. «Я этой книги не прочел, а только посмотрел ее, — скажет Толстой, — а читать не буду. Все, что скажет, что может сказать Мечников, я знаю. Он очень образованный и очень ученый человек, но он не понимает того, что нужно людям. Горе не в том, что мы живем мало времени, а в том, что мы плохо живем, живем против себя и своей совести. Мы наполняем свою жизнь делами, которых не надо было делать, или тратим ее на шумиху слов. Одно надо, чтобы проснулось сердце человеческое...» Нет тут иронии... Вдыхая горький воздух Ясной Поляны, тоже думал, что чтобы сердце должно же проснуться!

И все же, когда зародилась эта страсть к поиску нравственной формулы, которая успокоила бы муки его проникновенной совести? Законно ли мое счастье? Не преступна ли моя жизнь? Не вредны ли мои дела?

Ни комфорт, ни любовь, ни уважение не дали покоя ищущей душе.

Тогда в чем покой? И был ли он? Был, оказывается.

Могучий человек, перешагнувший предельный возраст, до которого доживали русские писатели, за исключением очень немногих, например Державина, сохранивший до последнего часа физические силы и творческий гений, листавший при жизни свое девятое Полное собрание сочинений (факт в России небывалый — Пушкин при жизни видел одно полное издание своих сочинений, Тургенев — три, Достоевский — вышел в «посмертном»), любил говаривать:

— Мне хорошо, очень хорошо, и

если чего жаль, так того лишь, что я не пострадал за свои мысли...

Счастье? А где начало у счастья? Где свидетельства, кроме слов? И могут ли быть иные свидетельства?

Иные свидетельства — образы героев книг, которые он дал миру. Назовите хоть одного несчастного в произведениях Толстого — нет такового! Вроде бы можно сказать: а Каренина? а Катюша Маслова? а Иван Ильич? Их-то судьбы уже никак не назвать счастливыми...

Почему же от знакомства с ними не тягостное, но освобождающее лучшее из душевных запасов чувство испытываем мы? Потому, видимо, что сам Толстой, как он признавался, вкладывал в творения все: «Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня (...). Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не обдумывал». И еще: «Коли бы можно было успеть 1/100 долю исполнить того, что понимаешь, но выходит только 1/10000 часть. Все-таки это сознание, что могу, составляет счастье нашего брата...» Счастье творца и художника Толстой считал законным. И всякого человека! Только счастье, добавлял он, в постижении, в открытии, в освобождении от себя существа нравственного. Путь страшно трудный. Не всякому по плечу. Но единственно истинный.

...Вообще его творческая лаборатория кажется гигантской мастерской, где каждый на свой манер постигает науку счастья — будь то Андрей Болконский, Левин, Кити, Оленин, Наташа Ростова... Толстого гневит все, что мешает человеку на пути к счастью. Гневит фанатизм церкви — порывает с ней. Гневит царь с его сладкими посулами — и Толстой не молчит... «Прав тот, кто счастлив!» Просто и ясно. «Простота, краткость и ясность есть высшее совершенство формы искусства...» — его же слова. И уточняет, отмежевываясь от простоты формы: «Идет мужик — опишут мужика, лежит свинья — ее опишут и т. д. Но разве это искусство? А где же одухотворяющая мысль, делающая бессмертными истинно великие произведения человеческого ума и сердца...»

«Толстой, — говорит В. И. Ленин, — сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе...» Толстой, как художник, будит человеческое сердце совершенным мастерством, прекрасным идеалом человека, ищущего свое высшее предназначение и находящего его, в одном из вариантов, в счастье или, как его несколько неожиданно определяет Лев Николае-

вич, — «во внутреннем самодовольстве...»

А как же «с одухотворяющей мыслью»? Мысль ищет. Она неостановима. И сам Толстой признает это: «Художник для того, чтобы действовать на других, должен быть ищущим, чтобы его произведение было исканием. Если он все нашел и все знает и учит, или нарочно потешает, он не действует...»

...Сердце разбужено. Оно ищет и через счастье, и дальше счастья. А что за ним?

Но зимний день в Ясной Поляне не спешил отвечать. Он все подтверждал, всему кивал...

Что да, в 1763 году Ясную Поляну у ее владельца, коллежского советника С. В. Поздеева, приобретает на имя жены князь Сергей Федорович Волконский. Затем сын его, Николай Сергеевич, по частям докупил остатки раздробленной Ясной Поляны. Николай Волконский умер в 1821 году. Владелицей усадьбы стала его дочь — Мария Николаевна Волконская, мать Л. Н. Толстого.

В 1822 году Волконская вышла замуж за графа Николая Ильича Толстого. Новый владелец занялся приведением в порядок дел и хозяйства жены. Он достроил дом, начатый Н. С. Волконским. Над первым этажом Н. И. Толстой надстроил еще два, но уже не из камня, а из дерева.

В этом доме родился четвертый сын в семье Толстых — Лев.

Не известно об этом событии никаких интересных подробностей, кроме выписки из метрической книги (приводится в воспоминаниях Загоскина):

«1828 года, августа 28 дня, сельца «Ясной Поляны», у графа Николая Ильича Толстого родился сын Лев, крещен двадцать девятого числа священником Василием Можайским с дьяконом Архимом Ивановым, дьячком Александром Федоровым и пономарем Федором Григорьевым.

При крещении восприемниками были Пелевского уезда помещик Простен Иванов Языков и графиня Пелагея Толстова». Эта графиня «Пелагея Толстова» была бабушка Льва Николаевича по отцу, Пелагея Николаевна Толстая...

...Я шел белыми тропками Поляны — белые дома на белом снегу, открытые белым. Заметил еще одну особенность — в Ясной слышны звуки простые, земные, как бы выключающие неестественные, громкие — разговоры, смех. Там и сям — люди, люди... А слышно, как свистнет порыв ветра в оледенелых ветвях. Вот экскурсовод что-то, тщательно жестикулируя, рассказывает, а слышно не его, но древесное поскрипывание желтых ниток хмеля на веранде дома Л. Н. Толстого. Слышно не тархтенье поблескивающего тракторишка на

ближнем поле, но туканье упавшего с ветвей снега и шелест самой ветви...

Как зорки здесь слух и зрение! Но что пробудит сердце?

Уезжал из Ясной Поляны с трудным чувством: ни один из вопросов, привезенных с собой, не разрешился. Было предчувствие ответа, не сам ответ. Подстылая тропа вела из Ясной Поляны вверх, к темнеющему тракту. Я понимал: нужно еще усилить. Усилие сердца, запечатлевшего, но не прояснившегося. И вспоминал, как обидным, несправедливым казалось поначалу, что до Ясной Поляны можно запросто проехать от гостиницы за пятнадцать минут. Обыденность и доступность размагничивали, расхлябывали. Все крепился, не допуская мысли, что полноватая и сердитая кондукторша, и бледный, почти юноша, водитель, и редкие деревья у домов, и сами низкие дома пригородов Тулы могут иметь что-то общее с тем, куда еду, могут быть как бы предтечей. Так бывает в вагоне поезда, когда вдруг начинаешь чувствовать, что мчишься обратно и нужно сделать усилие, зажмуриться и снова открыть глаза, чтобы удостовериться — нет, грохочет задранный вагон в нужном направлении...

...Я открыл глаза и снова закрыл их — так сильно блещет полог реки за огородами. Мой дом. Моя родина. В этом невеликом домике на краю села, на берегу реки, я вырос. Все тут мое, весь тут я... То почти бессознательное чувство, кинувшее из Ясной Поляны в Коптелово, подсаживало-таки: поезжай и найдешь, что ищешь...

И дом этот, откуда я уехал давно, с полным обиходом стоял безлюден всю зиму; приезжал кто — мама, старший брат, топили, жили субботу и воскресенье.

Не очень и холодно было, но я прокутился ночью под двумя одеялами и утром понял: надо потопить. Нашепал лучины. Поколот дрова — хорошо они разлетались (сыроватые), да плохо горели... Главное неудобство — колодец. Однажды ночью, лет двадцать назад, мы проснулись от угрожающего шороха. Бросились к окну и вид залитой луной оградой удивил меня своей на себя непохожестью. Где не отчего было падать тени, стояло синее пятно. Колодца не было, а пятном была яма. Ушел от нас колодец. Откопать бы, да силенок не было. Стали ходить за водой через дорогу, к соседке Любаве. Я силился поправить оледенелую крышу над ледяным же зевом, неловко согнувшись, и вдруг почувствовал взгляд. Поднял голову. Может, и с улыбкой — в губах поджатых — бабушка Любава смотрела на меня. Вот чего стыжусь всегда, наезжая домой. Стыжусь пристального взгляда односельчан... Бывает, ужоу на станции

берегом реки, не улицей. За что стыд? Нет ему, верно, точного названия, но он живет в каждом, кто однажды бросил родной дом, пусть и по причине уважительной.

...Я затопил плиту. Сидел у двери, потряхивая сырватые дрова ключкой. Худо-бедно изба наполнялась теплом, задымились паром окна, как-то потеплели половики, запахло обжитым. Осталось донести воды. Я вышел с ведром за ограду. Был чистый полдень. У колодца встретила бабушка Любава. Я стоял перед ней на минуту ни в чем не виноватый, со спокойной, на эту же минуту, совестью, раз уж вился над домом сизый от сырых дровец дымок...

Вот чего, бывает, хватает сердце человеческому для очистки совести — взять и протопить дом.

Пока есть у человека чувство родительского дома, родины, не спит его совесть. Пробуженная, она просит искупления.

Я вдруг увидел в Толстом не гениального писателя, не мировую величину, а просто человека — человека с сердцем, остро больным вот этим долгом перед Россней, вскормившей дух его...

И без малого 60 лет Ясная Поляна питала этот дух. Он приехал сюда девятнадцатилетним юношей, бросив Казанский университет, и ушел — старцем. Он написал здесь более двухсот произведений. Почти сорок восемь лет прожил с Софьей Андреевной, воспитав тринадцать детей...

К словам гения из Ясной Поляны прислушивалась планета. Одна французская газета заметила, что Толстой дает миру столько, сколько тот способен усвоить. А Лев Николаевич работал и работал, иногда, правда, не преминув с гордостью сказать: «Я всегда занимаюсь с одной свечой, а вот дожид до семидесяти лет и никогда не ношу очков!»

Он напишет о родном уголке земли: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего Отечества, но я не буду до пристрастия любить его...»

Но было и другое...

«Мне так гадко, грустно теперь в деревне. Такой холод и сухость в душе, что страшно. Жить незачем. Вчера мне пришли эти мысли с такой силой, как я стал спрашивать себя хорошенько, кому я делаю добро? кого люблю? — Никого! И грусти даже и слез над собой нет. И раскаянье холодное. Так, рассужденья. Один труд остается. А что труд? Пустяки, — копаешься, хлопочешь, а сердце приживается, сохнет, мрет...» Это письмо

к С. А. Толстой написано летом 1859 года, когда Лев Николаевич, занимаясь хозяйством в Ясной Поляне, испытывал мучительное недовольство собой и своей жизнью.

Что там произошло, если уже 23 февраля 1860 года Лев Николаевич, высказывая Фету свое мнение о новых произведениях Тургенева и Островского, заканчивает письмо словами: «Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко тому, что мы знаем...»

И скоро Толстой пишет В. П. Боткину:

«Существенное для меня сделано. На моем участке на 9000 тысяч душ в нынешнюю осень возникли 21 школа — возникли совершенно свободно и устоят, несмотря ни на какие превратности...»

Признаюсь: и поехал-то я в Ясную Поляну, чтобы рассказать о педагогической деятельности Льва Николаевича.

О том, что работа его, как педагога, среди богатой, до бесконечности разнообразной духовной деятельности, занимала видное место... Что уже в 1848 году, то есть гораздо раньше, чем появилось в свет его первое литературное произведение, он уже проявлял заботу об устройстве школы... И что последняя его статья о воспитании «В чем главная задача учителя» датирована октябрём 1909 года. И так, слишком 60 лет с перерывами, и в разных формах, то как рядовой учитель, то как редактор педагогического журнала, то как составитель азбуки, то как педагог-мыслитель.

Рассказать о том, что школа Толстого была совершенно удивительна. Уроков не задавали. С собой никто ничего не носил — ни книг, ни тетрадок. Существовала полная свобода.

Свобода детей любить или не любить учителя, слушать или не слушать...

Рассказать о том, как Толстой выпускал и журнал «Ясная Поляна», где отстаивал свою точку зрения на педагогику, о неистовствовании соседей-помещиков, настроение которых выразил становой пристав: «Теперь он хочет воспитать в своих идеях подрастающую детвору и устроил на собственный счет у себя в Ясной Поляне школу. Помилуйте: школу для крестьянских детей! И сам в качестве учителя? Граф — учитель? И после этого человек требует уважения, которое подобает как графу, как помещику, как бывшему офицеру... Ну, погоди, батюшка, как бы тебя... не двинули...»

О том, что пытались двинуть — нагрянули с обыском жандармы, перерыли оба дома, подняли полы в конюшне, искали сетями на дне прудов...

О том, что любимым ученик Льва Николаевича Василий Морозов напи-

сал впоследствии книгу о яснополянской школе, где, между прочим, говорил о своем учителе «был добрый, как друг...».

И о том еще, что один из учеников — Фоканов Тарас участвовал и в похоронах, и был сторожем могилы своего учителя...

И еще о том, как говорил о себе Толстой: «...не мог и не могу войти в школу, чтобы не испытать прямо физического беспокойства, как бы не посмотреть Ломоносова, Пушкина, Глинку, и как бы узнать, кому что нужно...»

...Были «холод и сухость в душе», потом «спасся от всех тревог, сомнений, искушений жизни...». Был долг, острое, даже болезненное осознание его, было искупление конкретным — обучил грамоте крестьянских ребятишек. Но учительство было частью, пусть и важной, но все же частью его жизни. А из Ясной Поляны невозможно было увезти часть чего-то: сердце просило цельного чувства...

Так, может, выше счастья — исполненный долг? Или он, долг честно исполненный, и есть высшее предназначение человека?

Нет, не вез я цельного чувства...

То помнилось и понималось сказанное Толстым «Мне хорошо, очень хорошо» — так можно говорить, имея в жизни нечто прочное, что не подведет, — этим и была для Льва Николаевича Ясная Поляна; то покой и умиротворенность заслоняли другое, тоже толстовское: «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и вечно бороться и метаться...»

«Все, что вносит единение между людьми, есть благо и красота: все, что их разделяет, — зло, уродство. Все люди знают эту истину. Она запечатлена в нашем сердце...»

А что пробудит сердце человеческое? Не то ли место, где случился первый его толчок? Родина то есть...

У тебя есть светлые, горькие, трудные, ясные вопросы про жизнь? Выберись, на сколько можешь, в родные места.

Трудно сказать, обязательно ли отправляться туда через Ясную Поляну, но ведь люди едут, едут, едут...



Пьесы Л. Н. Толстого на Екатеринбургской сцене

**Юрий
КУРОЧКИН**

Театральная программка... Эфемерное, по сравнению с книгой, создание печатного станка. Вернувшись из театра, ее хотя и приносят с собой, но при первой же уборке без сожаления выбрасывают. Редко у кого она хранится годами, и то как память о каком-то особо памятном театральном событии. А уж чтобы ее хранили дети, внуки — это вообще редчайшее явление, случайность.

И все же хоть единицы программок доходят до нас из глубин десятилетий. Тогда этот узенький листочек предстает перед нами уже в новой роли — теперь он не просто памятка, не только реликвия, но и документ.

Перебирая свое собрание театральных программ, я задерживался на тех, что связаны с именем Л. Н. Толстого. О многом они могут поведать, особенно если привлечь и другие эфемериды печатного станка — старые газеты.



Вот памятка о спектакле 19 октября 1900 года в Верх-Исетском театре (точнее — в театре при Верх-Исетском народном доме). В этот вечер шли «Плоды просвещения», поставленные труппой антрепренера Струйского под режиссерством Е. В. Любова.

Это был пятый спектакль только что начавшегося сезона, новая труппа еще не сыгралась, к тому же в тот год она не блистала яркими актерскими именами. Может, именно поэтому, не надеясь на успех, антрепренер дал в тот вечер еще и второе отделение, для которого пригласил... цирк — гастролировавшего в городе известного шута-сатирика и дрессировщика Анатолия Дурова и артистов цирка Чинизелли — клоунов, танцовщицу и силача. Ясно, что публика в театре собралась пестрая, соответственно пестрой была и ее реакция на происходящее на сцене.

Это, конечно, и смешно и печально. Но еще более смешной и печальной выглядела история с первой постановкой этой пьесы на екатеринбургской сцене. Надо сказать, что здесь она была поставлена — впервые в провинции! — еще в октябре 1891 года, вскоре после премьеры в столичном Александринском театре и на два месяца раньше, чем в московском Малом театре. В провинции же ее начали ставить лишь два года спустя. И город мог бы гордиться этим, если бы...

Если бы не гнусная реакция на спектакль местной газеты. Рецензент «Екатеринбургской недели», скрывшийся под псевдонимом «Ъ», просто-напросто облил пьесу грязью. Глупость его опуса пересказать трудно, лучше уж привести отрывки-примеры. Он, например, писал: «Комедия эта совсем не достойна того нетерпения, с каким ее ожидали... увидели плохую пьесу со лживой тенденцией и нелепым содержанием, напоминающим скорее какой-нибудь переделанный фарс, чем сатиру на современные недуги и язвы общества... Фарс не только не безобидный, а с предвзятой тенденцией, весьма несимпатичной по идее».

Так шавка облаяла слона. Что и говорить, тенденция в пьесе, несомненно, была, а для кого она «весьма несимпатична», тоже секрета не составляло.

С чьего голоса пел рецензент «Недели», дает понять его сравнение пьесы с фарсом. Именно так — «небрежно набросанным фарсом» объявил ее чуть раньше известный реакционер князь Мещерский в своей печально известной газетенке «Гражданин», а за ним и другие органы охранительной печати. Впрочем, иной реакции на пьесу, где в сатирически заостренной форме обличалось паразитическое общество бар, нельзя было и ожидать от газет, представлявших интересы этого общества.

А что вся екатеринбургская пуб-



лика будто бы «осталась очень разочарована», то тут рецензент, попросту говоря, врал. Публика-то, как он сам проговорился в статье, давно ожидала появления пьесы на местной сцене и не случайно «заполнила театр сверху донизу». Да и как было публике разочароваться в пьесе, если ее ждали с таким нетерпением и, несомненно, знали — ведь она была опубликована еще за год до этого в сборнике «В память С. А. Юрьева», а в 1891 году переиздана и имела в городской публичной библиотеке имени Белинского.

К чести «Екатеринбургской недели» надо сказать, что спустя несколько лет газета реабилитировала себя справедливой оценкой пьесы Толстого.

Злобные нападки реакционного лагеря на «Плоды просвещения» велись не только со страниц черносотенных и им подобных газет и журналов, но даже и со сцены. Вскоре после первых постановок комедии некий Сикевич насмехался над антитолстовскую пьесу «Цветы просвещения». В январе 1895 года ее, с явно спекулятивными целями, поставила и антрепренерша екатеринбургского театра Понизовская. «Екатеринбургская неделя» дала резкую оценку этому сценическому пасквилю.

Газета писала: «Когда мы смотрели это небывалое в нашей драматической литературе произведение нового драматических дел мастера, нам невольно пришел на ум афоризм, что «всякий имеет право быть глупым, но никто не вправе злоупотреблять своей глупостью...». «Это до невероятия грубое, полное цинизма издевательство... поругание ценного всем просвещенным миром имени автора «Анны Карениной», полное неуважение к задачам сцены».

В расчете на скандальный «успех» (а, значит, и кассовый сбор) в январе 1904 года поставил «Цветы...» и пройдохистый антрепренер Трефилов, известный своей беспринципностью. И тоже был оштрафован. Печальной памяткой о том злополучном спектакле в моем собрании лежит кем-то когда-то переданная программа. Как говорится — «печально, но факт...»

Рядом в папке лежит и другая толстовская памятка. Тот же Трефилов поставил в тот же сезон «Власть тьмы» (22 ноября 1903 года) — ему было все равно, на чем делать сбор.

Однако это была не первая постановка этой пьесы в городе. Впервые ее здесь услышали еще в марте 1896 года, когда на литературном вечере, данном в городском театре артистом М. Л. Гусевым, были прочтены роли из этой драмы. Почему услышали, а не увидели, легко объяснить: сезон уже закончился, труппа разъехалась, шел великий пост, в пе-

риод которого театральные представления не разрешались, а концерты давать можно было.

Кстати заметить, что пьеса долгое время была запрещена к представлению на сцене и лишь в сентябре 1895 года последовало разрешение, которым в этот сезон сумели воспользоваться лишь немногие провинциальные театры.

Интерес к произведениям Л. Н. Толстого рос с каждым годом. Это не мог не учитывать и театр. Но репертуарных пьес у Льва Николаевича было всего (в ту пору) две. Тогда пошли в ход инсценировки его прозаических произведений. Об этом, в частности, свидетельствует еще одна памятка из моего собрания — программа спектакля «Катюша Маслова». Эти «драматические сцены в 8 картинах по роману графа Л. Н. Толстого, приспособленные для театра Арбениным», были поставлены 27 января 1905 года в Верх-Исетском театре труппой талантливого режиссера М. Т. Строева, ученика и последователя выдающегося театрального деятеля А. П. Ленского.

Кроме того, ставилась «Анна Каренина», переделанная в пятиактную драму: в ноябре 1908 года труппа антрепренерши Зарайской трижды давала этот спектакль. Шла еще «Крейцера соната», но уже после смерти Л. Н. Толстого.

Уход Толстого из дому и последовавшая вскоре кончина его вызвали, можно сказать, взрыв внимания к его личности, к его произведениям. Не остался в стороне от этой волны внимания и местный театр. Правда, в ноябре драматической труппы в городе еще не было, действовала оперная, но как только начался зимний драматический сезон, антрепренер Кириков вторым же спектаклем поставил «Власть тьмы», посвятив его памяти писателя. А ровно через неделю (17 декабря) — «Плоды просвещения», повторив их еще и 27 декабря. Программа этого спектакля у меня есть. Храню я в памяти и рассказы о нем моего дяди, побывавшего в этот вечер в Верх-Исетском театре.

Сменившая весной антрепризу Кирикова «труппа артистов русской драмы под управлением А. М. Матвеева» тоже начала сезон толстовскими пьесами — «Катюшей Масловой» и «Крейцеровой сонатой».

Естественно, что появление в печати (в сентябре 1911 года в «Русском слове») драмы «Живой труп» привлекло внимание всех театров страны. Как известно, пьеса эта, созданная по материалам громкого судебного процесса недавних перед тем

лет, осталась незаконченной. После того как у Толстого побывала несчастная «геронья» дела, прототип Лизы Протасовой, Лев Николаевич дал ей слово, что не будет печатать и не отдаст ее театрам. И сдержал свое слово — отложил рукопись в дальний ящик, из которого она была извлечена чуть не через год после смерти автора.

Но в октябре 1900 года, в ответ на настойчивые просьбы В. И. Немировича-Данченко разрешить Художественному театру постановку пьесы, нехотя вымолвил: «Когда умру — играйте». Этим «разрешением» и воспользовались потом. Об огромном успехе «Живого трупа» свидетельствует хотя бы такая цифра: за время с 1 января по 15 октября 1912 года ее поставили 243 театра!

Конечно, среди них был и екатеринбургский театр. В первые же две недели зимнего сезона 1911/1912 года труппа И. С. Флоровского дала ее четыре раза. В последующие годы редкий сезон обходился без постановки этой пьесы, вошедшей в золотой фонд отечественной драматургии.

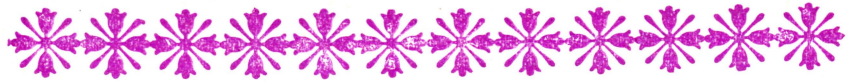
Пожалуй, к месту будет здесь вспомнить и о ранних экранизациях произведений Толстого, показанных в Екатеринбурге.

В январе 1911 года почти во всех кинотеатрах города прошла фильма, как тогда говорили, «Анна Каренина», а в октябре (то есть через месяц после появления в печати) — «Живой труп». Можно только удивляться оперативности кинодеятелей на заре русской кинематографии!

Не меньшую оперативность проявили они и при съемках похорон Толстого. Буквально через несколько дней кинохроника уже поступила в город. Но местные власти вначале запретили показывать ее. Лишь 22 ноября последовало разрешение: «Только на три дня». Однако владельцы кинотеатров пренебрегли этим половинчатым разрешением и крутили ленту чуть ли не целый месяц.



Памятник археологу



Международный научный центр в г. Найроби, столице Кении, сосредоточил усилия ученых, занимающихся проблемами происхождения человека, на одной из величайших загадок природы, отгадать которую чрезвычайно трудно.

Около здания этого центра в 1977 году открыт памятник. Это, насколько мне известно, первый в мире памятник археологу. На груди камней помещена фигура пожилого усталого человека, который держит в руке первобытное каменное орудие и пристально вглядывается в него.

Это памятник Люису Лики, основателю Международного центра и самому популярному археологу в мире.

Жизнь Л. Лики — вечный поиск, не останавливавшаяся ни на минуту разведка. Не всегда она была радостной и удачной, но всегда — целеустремленной.

В фигуре археолога чувствуется усталость.

Трудно подсчитать число километров, которые прошел исследователь по африканской саванне. Если еще добавить такие мелочи, как то, что экспедициям изрядно докучали львы и носороги, ядовитые змеи, — можно представить, что путь Лики был трудным и опасным.

Все годы работы Л. Лики в Африке рядом с ним была его супруга Мэри Лики — постоянный «капитанармус» экспедиции, археолог и удачливый поисковик. Именно ей принадлежат наилучшие находки. Археологией занимались и четверо его детей, из которых один — Роберт Лики продолжил дело своего отца, умершего в 1972 году, и в тридцать лет приобрел мировую известность.

Что же сделал Л. Лики и его ближайшие помощники, чем прославил он себя в науке и чем заслужил первый в истории памятник, поставленный не герою, не политическому деятелю, не поэту — археологу?

Свыше сорока лет группа Л. Лики изучала Олдовейское ущелье, расположенное на границе Кении и Танзании. Здесь сама природа позаботилась об археологах: словно большим ножом разрезано плоское дно долины Серенгети — образовался стометровый каньон, в бортах которого, как в слоеном пироге, речные отложения перемежаются с прослоями вулканического пепла — следами

периодической деятельности вулканов, обрамляющих долину. Слои эти залегают в строгой последовательности, и многие из них содержат кости животных, каменные орудия и другие следы жизни древних людей. Самым молодым остаткам — всего 10 тысяч лет, и они находятся вверху разреза. А что же лежало внизу? Вот с изучением самых древних слоев Олдовея, а с ними и самых древних останков человека и связаны открытия, прославившие в науке о человеке имя Люиса Лики.

До конца пятидесятых — начала шестидесятых годов нашего века наиболее древние орудия труда датируются на основании общих геологических данных возрастом в 600 тысяч — 1 миллион лет до н. э. Они были найдены в Азии (патжитанская культура на острове Ява) и в Африке (Олдовейское ущелье). Азиатские находки косвенно были связаны с костными остатками примитивных «обезьянолюдей» — питекантропов. Но уже тогда ученые понимали, что питекантропам должно предшествовать более ранняя форма — существо, потенциально имевшее право отобрать у питекантропов привилегию именоваться «первым человеком на Земле».

В 1960 году супруги Лики обнаружили в нижней части Олдовейского разреза остатки существа, которое по своим антропологическим признакам было значительно примитивнее питекантропа. Однако с ним в одном слое найдены каменные орудия, также менее развитые по сравнению с орудиями патжитанской культуры. Существо это получило наименование «хомо хабилис», что значит «человек умелый». Совершенно неожиданным был возраст этой находки, на этот раз определенный точными физическими методами, — 1 миллион 750 тысяч лет. Возраст человека на Земле сразу увеличился вдвое!

Проходит всего 10 лет — срок для науки совсем небольшой, — и мы станем свидетелями еще более сенсационных открытий. Р. Лики, Г. Айзек и другие ученые находят каменные орудия, возраст которых уже 2,4 миллиона лет. Но этого мало. Череп существа, соответствующий этой дате, найденный в местности Кооби Фора, оказался по некоторым морфологическим признакам более развитым не только по сравне-

нию с питекантропом, но даже и с хабилисом.

У него меньше надглазничные валики, легче челюсти, более прямой лоб, больше объем мозга. Находка дает серьезные основания для подтверждения выдвинутой Л. Лики гипотезы «пресапиенса», то есть теории параллельного существования тупиковых форм эволюции человека (австралопитеки, питекантроп, неандерталец) и появившегося на самой заре человеческой истории существа, уже определенно несущего человеческие черты, реализованные через два миллиона лет (всего 40 тысяч лет до н. э.) в появлении ископаемого человека современного типа.

Советские ученые пока не приняли гипотезу Л. Лики. Большинство из них считают, что австралопитеки (жившие 5—1 миллион лет тому назад в Африке) уже пользовались каменными орудиями, но не всем популяциям австралопитековых было суждено «выйти в люди», а только той группе, в которой самым удачным образом сочетались особые биологические предпосылки с орудийной деятельностью этих высокоорганизованных обезьян.

Таким образом, находки Л. Лики в Восточной Африке открыли ранее не известную главу в истории человечества, и не зря усталый и грузный человек закончил свой жизненный путь в бронзе памятника, украшающего вход в созданный им институт. Его заслуги в науке, изучающей происхождение человека, исключительно велики, а его жизнь была настоящим научным подвигом.

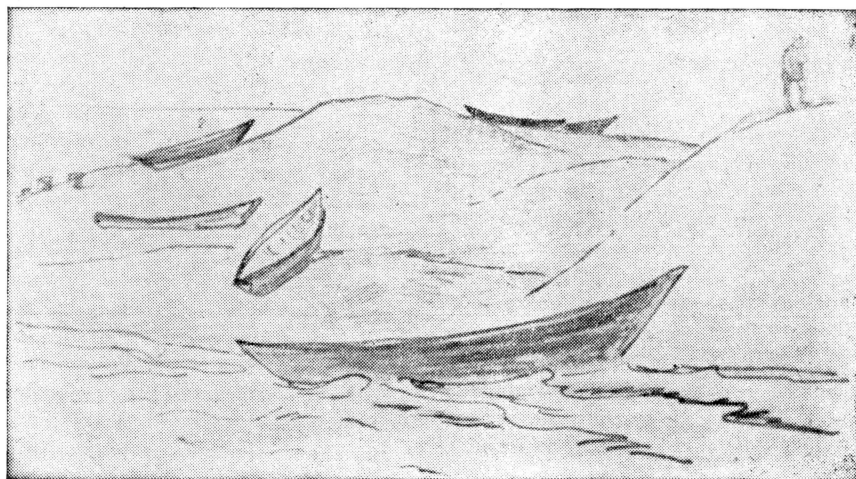
В. А. РАНОВ,
кандидат исторических наук,
действительный член
Всесоюзного Географического
общества СССР



Венец Таймыра

**Анатолий
ТУМБАСОВ**

*Рисунки
автора
Репродукции
А. Нагибина*



Выпал снег. И стало так бело, что, если рисовать, то страницу в альбоме, за исключением нескольких штрихов, надо оставлять чистой. Все-все на земле сделалось белым. Только дома, побеленные с синькой и всегда казавшиеся белыми, стали голубыми, а белые чайки на снегу — серыми.

Ничего нет белее первого снега!

Собаки от радости начали валяться в снегу, не обращая внимания на чаек. Река Хатанга посуровела в белых берегах, разъярилась, нахлестывая лодки, и они толклись, дергались на привязи. Лишь морское судно «Тулома», пренебрегая речной волной, гордо стояло у причала. К нему и от него бежали машины, а краны беспрерывно вычерпывали грузы из трюмов.

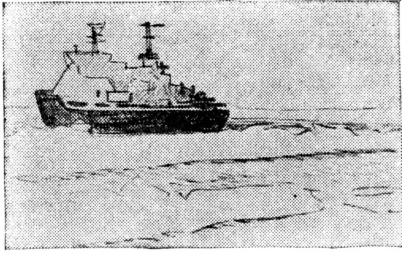
С потаенной мечтой поглядывал я на «Тулому», на черный корпус в царапинах и вмятинах от льдов. Как будто чудище какое хватало судно когтями, чтобы не пустить его на Таймыр. Но моряки не сдались, прошли Северным морским путем и до-

ставили из Архангельска в Хатангу продукты, строительные материалы, прессованное сено. От него на меня пахло душистым лугом. Я сразу вспомнил прикамскую речку Гайву, когда, бывало, в летние дни перебрешь ее, бросишься в траву и очутишься будто бы в душистой зеленой колыбели...

Вахтенные моряки, одетые в шубы и шапки, встретили нас с товарищем у трапа и проводили к капитану Усачеву. Анатолий Степанович принял нас просто, будто бы мы были давно знакомы, ходили по южным морям и вот встретились на Севере. Он сказал, что «Тулома» из Хатанги пойдет в Игарку за лесом. Мы ухватились за это: дескать, было бы классическим завершением творческой командировки — обогнуть Таймыр. Капитан согласился взять нас: художники все-таки на судне бывают нечасто.

Из-за Хатанги, где между низкими облаками и заснеженной тундрой стыла ветряно-красная заря, летели гуси. Тревожным криком боль-





«Арктика» в проливе Вилькицкого.

шие птицы навевали воспоминание о коротком лете. А морское судно внутри наполнено теплом, радуется уюту, чистотой. В кают-компании за ужином подавался винегрет из овощей. Но, пожалуй, больше всего на Таймыре я соскучился по свежей картошке. Однажды на этюдах мне даже почудилось: будто бы копают картошку — слышно, как она громыкает в ведрах, и я ощутил запах печеночек. Но вокруг была безгородная тундра...

7 сентября. Утро солнечное, снег стаял. «Тулома» шла в близких берегах Хатанги. Чайки пролетали, сверкая белым брюшком. С высокой палубы морского судна горизонт открывался широко, берега виднелись совсем по-другому, нежели когда я видел их, путешествуя по Хатанге на пассажирском катере «Нордвик».

Но тогда тоже было интересно. Помню, как в поселках местные долгане выходили встречать «Нордвик» и еще издали махали нам. Нетерпеливые забредали в воду, и девчонки, как через скакалку, прыгали через набегавшую волну. Река оживает на короткое летнее время, оттого все радовались каждому приходу «Нордвика».

Когда катер входил в Хатангский залив, ветер напористо гнал встречные волны. Стрелка креномера уже не стояла на нуле. Под ноги штурвальному Киракасяну выкатился флакон с жидкостью от комаров, он поднял его и выкинул за борт:

— Больше не нужен, — сказал улыбаясь. — Начинаются осенние штормы.

Гайк Еремович Киракасян давно

живет в Хатанге и не собирается уезжать в Армению. Говорит, привык, хотя привычка к Северу, тем более к Таймыру, дело нелегкое.

На вахте с Киракасяном рулевым-моторист Володя Журавлев. Вспоминаю, как Володя хлопотал штормовой ночью в Хатангском заливе. Тогда я едва спустился в небольшой салон и сразу улегся: катер сильно бросало. В какой-то девятый вал раскрылись дверцы буфета, вывалилась посуда, опрокинулась кастрюля с супом. Володя не успевал наводить порядок то в салоне, то на палубе. «Нордвик» встал на якорь. Лишь под утро, когда желто-зеленая волна, окатывая иллюминатор, все больше слабела, я поинтересовался:

— Утихает?

— Мы сами крепко утихли — сели на мель, — отозвался Володя.

Надо было ждать дневного прилива, когда этакая посудина, как Хатангский залив, снова наполнится. Я поднялся наверх. Голый остров почти не защищал от ветра. Не по себе становилось при виде беспрютного клочка земли и жутко было представить себя заброшенным на него. Но когда я увидел вдоль берега плавник, белевший, словно кости какого-то животного, подумал о спасительном огне. Волны выбрасывают на берег смывые деревца, потерянные бревна, доски, и это дает людям топливо. Я видел сложенный кучками плавник в становищах.

В Сындаско мы пришли после шторма и немалых трудов, пока снялись с мели, так как приливную воду сгоняло встречным ветром обратно.

Поселок Сындаско — центр совхоза «Арктический», самое северное оленеводческое хозяйство страны. Наконец, я обрел твердь под ногами, шел по песчаной косе, и она, как большое крыло самолета, странно покачивалась: немного кружило голову после шторма. Мой попутчик долганин жаловался на холодное лето и что рыбы от этого мало. Он не охот был поговорить и отвечал на все «аха». Даже когда мы расходились и я попрощался с ним, он так же сказал «аха» вместо «до свидания» и спустился на берег к лодкам.

В оленеводческом поселке разных повозок и нарт было больше, чем домов. И много ребят на улице. Они попросили меня показать альбом. Я начал листать его. Чтобы всем было видно, я поднимал альбом над головой и показывал рисунки. Как перелистал все, ребята сразу разбежались. Остались только лохматые собаки с добродушными медвежьими мордами. Они не приучены лаять на чужого. Я стал рисовать, не обращая внимания на собак. Вдруг кто-то сильно толкнул меня в подвздошину и чуть было не опрокинул навзничь. Опустив альбом, я увидел будто сменяющуюся мохнатую морду большущей белой собаки.

— Ты чего, дурашка, — сказал я.

Собака опять подпрыгнула высоко, толкнула меня в грудь и отскочила, приглашая поиграть...

Собирался дождик. Темнело. Далеко, в конце песчаной косы, светились огни «Нордвика». Я пошел туда, засунув альбом за полу плаща, под которым была куртка, свитер, теплая рубашка, и все-таки ветер пронизывал. Волны шумели, играя галькой...

Теперь, когда мы шли на морском судне «Тулома» по Хатангскому заливу, небо и вода были, как зеркало в зеркале, — одинаково голубые. Даже с трудом верилось, что маленькое суденышко «Нордвик» трепало здесь штормом.

Приближалось море Лаптевых. Мореходные пути на картах обозначены пунктиром. В Атлантике или Индийском океане линии перекрещиваются, сходятся и расходятся в портах веером, а полуостров Таймыр огибает всего один пунктир — Северный морской путь. Его торили из века в век многие поколения.

Первые мили, пройденные по морю Лаптевых, пока не давали представления об Арктике. Льды появились неожиданно — мы увидели их в окно каюты. Раздумывать было некогда: схватили альбомы — и на палубу. набросок, еще... Сломался карандаш, подточить некогда, шариковая ручка на промозглом ветру не пишет. Кое-как в спешке настроил карандаш, ветер не дает перевернуть альбомный лист — вырывает, мнет его...

Арктические странники, как лебеди, проплыли мимо. Какая досада, что их было так мало. Но на другой день льдины появились снова, потом их стало больше. «Тулома» пока легко маневрировала среди них.

Чайки какие-то особенные, садятся на глыбы, кричат уныло, как бездомные — на холоде во льдах. Но нет, они в родной стихии.

Навстречу шел ледокол «Капитан Сорокин». Экипажи связались по радию, с ледокола приказали следовать за ним. «Сорокин» смело прокладывал путь в разреженных льдах. Но морякам известно: Арктика неуступчива. Она властно брала суда в тисы. Напрягается двигатель — мечется эхо стосильных лошадей в машинном отделении-шахте.

С мостика раздается команда:
— Стоп, машина!

Стало слышно тревожный крик птиц, ломкий стеклянный шорох льдин. Они медленно плыли, увлекая за собой судно. Двигались льды, двигались суда — дрейфовали и перемещались относительно друг друга, как звезды. Моряки сказали:

— Стоим в ожидании формирования каравана.

Я смотрел на холодный блеск ледовых полей и думал о том, что Арктика почти не дарит радостей. Многих путешественников не пощадила она. Но среди отважных исследователей были и художники, пер-

вые открывшие в своем творчестве Арктику!

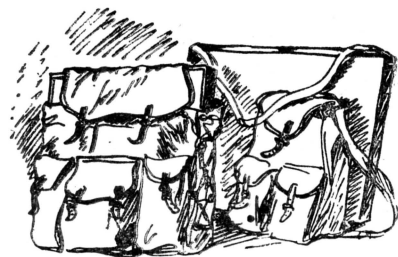
Александр Алексеевич Борисов, будучи учеником Петербургской Академии художеств, каждое лето отправлялся писать этюды на Север.

Третьяков поддержал молодого художника. Окрыленный успехом, он подготовился к длительному путешествию. Перевез на Новую Землю рубленый дом, где впервые построил мастерскую за Полярным кругом. На одномачтовом судне Борисов отправился через пролив Маточкин Шар на восточное побережье Новой Земли. Там судно затерло льдами и оно оказалось в опасном дрейфе. Путешественники покинули судно и стали пробираться по плавающим льдам. Их спасли ненцы.

Борисов пересек Новую Землю, прошел пешком и на собаках почти четыреста километров, чтобы попасть в свой дом-мастерскую. За зиму, в условиях полярной ночи, работая с керосиновыми лампами, художник создал серию портретных рисунков новоземельских ненцев.

Уже после Октябрьской революции, учитывая искреннюю любовь Борисова к Русскому Северу, верность теме, изучение полярных земель, безымянный полуостров на Новой Земле назвали именем художника.

Второй художник, Николай Васильевич Пинегин, начал знакомство с Севером с того, что решил пройти заброшенным Екатерининским каналом с Камы в Вычегду и Север-



Снаряжение художников.

ную Двину. Потом он познакомился в Крестовой губе с морским офицером Седовым. Они быстро сошлись и почти с первого знакомства «крепко ударили по рукам», вдохновленные идеей покорения полюса.

Офицер российского флота Седов считал, что покорение полюса наиболее доступно русским, нежели другим народам и государствам. На экспедиционном судне «Святой Фока» он в 1912 году вышел к Северному полюсу из Архангельска. Дерзновенной клятвой его были слова: «Не достигнув полюса, не вернуться!».

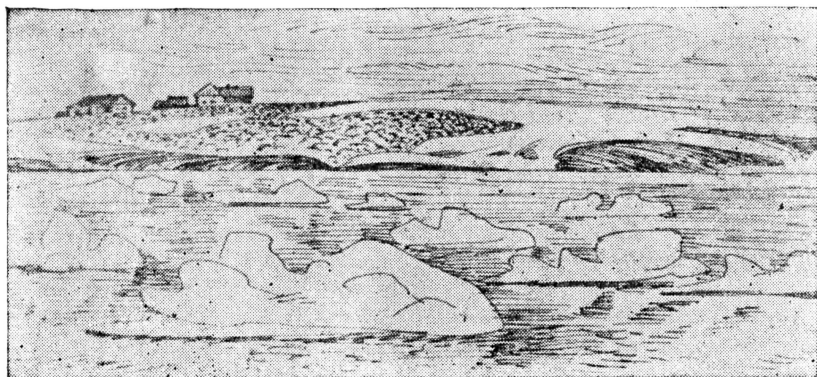
Художник Пинегин выполнял на судне обязанности фотографа и кинооператора. Но прежде всего он писал этюды, нарисовал портрет Седова, а впоследствии создал картину зимующего во льдах «Фоки».

Пинегин был самым близким человеком Седову. Он пытался предостеречь большого друга от санного похода к полюсу, но путешественник ушел к цели в сопровождении двух матросов...

Глядя на суровое безмолвие Арктики, на взметнувшиеся торосы, на замутненные туманом и зябко мерцающие огни ближних судов, на темные тучи, на черную воду и белые льды, на таинственно светящиеся изнутри глыбы, невольно вспоминаются отважные полярные исследователи и путешественники.

Бухту Марии Прончищевой обступили синие горы в прожилках снежников. Они целенело возвышаются над таймырским берегом. Безлюдье и молчание — как торжество вечной памяти. Кто она, среди многих известных исследователей —

Один из девяноста островов Норденшельда.



женщина? Здесь нет мемориалов, имена открывателей начертаны на картах: бухта Марии Прончищевой, берег Прончищева...

В 1736 году Прончищевы вышли на деревянном шлюпе «Якуцк» и направились от устья Лены к западу. Мужество их было беспредельно: льды взламывали пешнями, спали на открытой палубе. Постепенно холод, голод, болезни подорвали силы исследователей, а они упорно стремились достичь северной оконечности Таймырского полуострова и обогнуть его. Но команда редела, умер Василий Прончищев, жена Мария пережила его на несколько дней. Навечно остались они лежать под деревянным крестом у изголовья Арктики.

Через пять лет Семен Челюскин, подштурман Прончищева, как бы продолжая мечту своих сподвижников, достиг заветной точки на севере Таймырского полуострова, которая называется теперь мысом Челюскина.

«Чем он примечателен?» — думал я. Человек всегда стремится оставить памятную мету — здесь он был. Но едва ли можно увидеть что-либо с борта «Туломы». Капитан сразу предупредил нас, что пойдем далеко от берега, что, возможно, будет плохая видимость. Но Анатолий Степанович не предполагал, что в проливе Вильницкого будет тяжелый лед. Уже в море Лаптевых суда встали в дрейф, дожидаясь формирования каравана. Морьякам это внаклад, но и не привыкать. А мы радовались.

— Нам очень повезло, дико повезло, — говорил мой коллега, рисуя ледовую Арктику.

Моряки дивились порой: не сидится, мол, художникам в тепле. Действительно, как хорошо бы лежать в каюте, слушать музыку, после ужина смотреть кино, спать... Так нет же, и ночью соскочишь не раз, да чего разглядишь через стекло. Бежишь на палубу: авось, сияние, может быть, медведь бродит вокруг? А тут вместо судна, которое стояло рядом, темно-синий айсберг, как ледяной дворец с потушенными огнями, а вдалеке дворец в ореоле огней — судно.

Пристраиваюсь с альбомом к

фонарю, в радужном свете которого мельтешат снежинки. Из рубки вышли посмотреть. Один сказал, что вечером была красивая заря. Второй иронически заметил, что, дескать, стоило ли из-за этой красоты забираться так далеко? Потом, помолчав, он, второй, добавил:

— А, пожалуй, стоило!

Мне от этого даже легче стало: должно быть, черствого юношу разбередила студеная природа. В нее, царицу, надо всматриваться — понимать. Тундра, например, далась мне не сразу. Леса и лесостепи с детства понятны, а тундру я узнавал исподволь, постепенно открывалась скупая красота ее.

— Ты понимаешь, — толковал мне товарищ, — северная природа очень тонкая и сложная. Тундра для художника вовсе не мачеха, однако, вырвать этюд у нее не так просто!

Если говорить о Севере, то для художника из ненцев Тыко Вылко, рожденного на Новой Земле, не было более красивой природы, чем голые или покрытые ледниками скалистые берега и горы дикого Ново-земелья. Архангельск он считал уже югом, а когда впервые увидел леса, то земля эта показалась ему и лохматой...

Тыко Вылко — удивительный самородок, художник и путешественник. Он не однажды обследовал с Русановым берега Новой Земли. Русанов для Вылко сделал многое, и он уважал, ценил, любил русского исследователя. Когда впоследствии русановская экспедиция исчезла бесследно, Вылко предпринимал поиски, а отчаявшись и потеряв надежду на спасение своего друга, тяжело заболел.

Кто привил Тыко Вылко любовь к рисованию и преподавал первые уроки, сказать трудно. Однако спасшие художника Борисова ненцы были из становища Вылко и он сам был среди них.

Борисов и Пинегин первые полярные художники, истинные певцы Арктики. Николай Васильевич Пинегин целиком посвятил свою жизнь Северу. Он принимал участие в создании радиостанций на безлюдных островах и был одним из первых

зимовщиков. Впоследствии художник стал признанным исследователем. Несколько раз он посетил места трагических зимовок «Святого Фоки» и в конце жизни (умер в 1940 году) взялся за создание романа «Георгий Седов».

Такие суда, как «Тулома», имея стальной корпус, и то не могут самостоятельно двигаться во льдах, а первые землепроходцы одолевали просторы северных морей на деревянных суденышках. Много было затрачено сил, прошли века, прежде чем был освоен кратчайший путь на восток. И в наши дни в проливе Вильницкого и в «ледовом погребке» — Карском море не обходится без поломок, аварий. «Тулома» получила пробоину еще в море Лаптевых, когда шли в разреженном льду. Но разве нам ведомо было, чем занедужило это огромное стальное тело. А команда уже занялась лечением.

— Креноваться будем, — услышал я, — обнажать пробоину.

После ледовых пейзажей я радовался земным просторам и даже тундре, которую увидел снова. Но она была уже серая, а багряную таймырскую осень мы писали в поселке Каяк, на реке Котуй — притоке Хатанги. Горы там покрыты лиственницами, это очень похоже на уральскую тайгу. Под берегом угольная шахта и больше ничто не напоминает о людных и теплых краях, где привыкли мы видеть густую сеть индустрии. Тишина спускается с гор, и накренившаяся иная лиственница, казалось, не падает только оттого, что поддерживается устоявшейся тишиной в долине.

Николай Павлович Шезцов, начальник шахты, долго жил на Шпицбергене, можно сказать, третий полярными льдами человек, определил нам место в гостинице и сказал, что ради искусства платы не возьмут. А свободных мест в гостинице из двух комнат — две комнаты. На почте я увидел «Уральский следопыт» и узнал от Риммы Михайловны: выписывают журнал в поселке восемь человек.

Как часто на Таймыре вспоминаются прикамские села, деревен-



ПРИЧАЛ
В ХАТАНГЕ



ОСЕНЬ
НА ТАЙМЫРЕ

ские огороды, чудится запах морковной ботвы, укропа, когда грядки бывают политы и крупные капли сверкают на листьях. Однажды я увидел во сне салат из помидоров. Пришел в столовую, там Ильинична с Людой смотрят в окно раздачи, будто с портрета в синей дощатой раме, и посмеиваются:

— Салат, говоришь? Мы бы сами его поели. Пожалуйста, оленину с косточкой!

Летнее солнце в Заполярье круглые сутки, но оно светит под низким углом. Приласкает землю вскользь, вызовет к жизни скупую растительность, вспыхнут враз и не успеют погаснуть цветы, как уже северные ветры в сговоре с вечной мерзлотой студят ожившую приро-

ду. После заморозка начинается колдовство красок. В одну неделю летняя тундра обернется в осенний наряд: оранжевая, красная, золотая, сизая — всеми цветами лезет в душу и сама просится на холст.

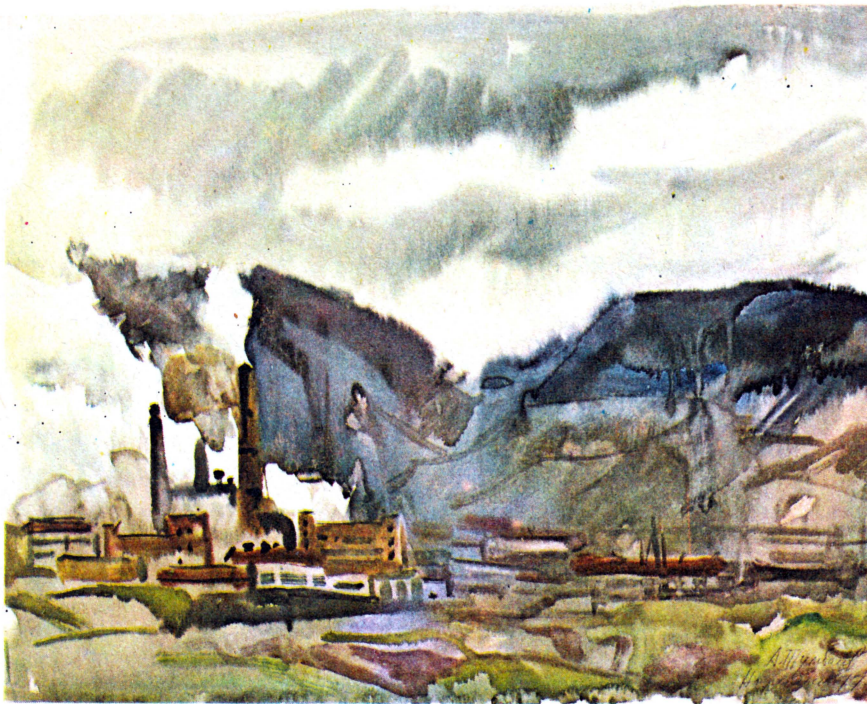
Вечером я спустился к речке. Склоненное к закату солнце прожекторно освещало дальние горы, где запавшие в складки тени рельефно лепили форму. В ивняке на перекатах блестела речка, оттуда тянуло прохладой, и я был доволен, разводя акварелью пейзаж, что бумага медленно сохла, давая возможность по сырому накладывать краску.

Вдруг за спиной услышал топот и передо мной возник запыхавшийся мужчина с двустовкой в руках. Он спросил, не видел ли я кого.

— Кого именно? — поинтересовался я.

— Волки переплыли реку и зашли в ивняк, — он показал на кустарник за моей спиной. Я вспомнил и сказал, что краем глаза видел двух собак, они бежали по голому мысу от реки и были похожи на овчарок, а не на лохматых псов, какие живут в поселке.

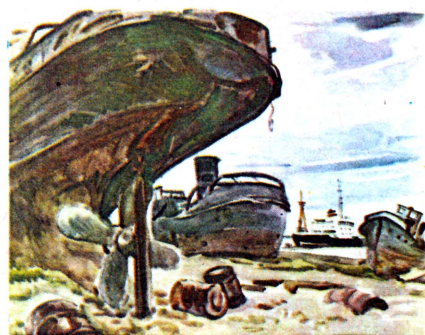
Охотник еще больше посерьезнел. Его лайка, озлобившаяся на меня, жалась к хозяину. Холодок пробежал по спине, но этюд надо было закончить, и я писал, озираясь и прислушиваясь. В стылом воздухе не звенел даже комарик. Охотник отдался и где-то прозвучал выстрел. В Каяке потом говорили, что охотник убил утку, и о том, что к



ИЮЛЬ
В НОРИЛЬСКЕ



ЛЕДОВЫЕ
ПОЛЯ



СТАРЫЕ
КОРАБЛИ

поселку прибежали волки, а художник думал собаки...

Когда капитан услышал эту историю, деликатно улыбнулся и спросил меня:

— А белого медведя за белого зайца примешь?..

Пока я отвлекся воспоминанием о поселке Каяк, пробоину «Тулумы» залатали и, перекачивая балласт, выправили судно. Так что в караван успели вовремя. За «Арктикой» шел корабль ледокольного типа, затем ледокол «Красин», за ним «Тулума», ледокол «Капитан Сорокин», транспортное судно «Абаканлес», опять небольшой ледокол «Василий Поярков», теплоход «Кузьминки»... В цепочке каравана через одно простое судно шло ледокольное.

Преодолевая тяжелые льды, караван двигался к проливу Вильницкого. Атомоход «Арктика» возглавлял этот своеобразный полярный обоз. Но непосредственно за ним следовать было опасно: вытолкнутые с силой глыбы льда могут пробить корпус судна. Поэтому за «Арктикой» шел ледокол меньшей силы и, принимая ледовые тараны на свою броню, гасил их. Да и не всегда атомоход без оглядки шел вперед, приходилось возвращаться на вырубку, если льды, сжимаясь, затирали какое-нибудь судно или меньшего собрата.

Когда атомоход проходил мимо, мы видели его близко, он надвигался всеми этажами враз, а я ничего не успевал рассмотреть. Лишь вер-

толет на корме казался легкой стрелкой, прилепившейся кое-как. У открытых дверей ангара стояли люди в меховой одежде. Это летчики, готовые подняться в ледовую разведку.

В проливе Вильницкого льдами забаррикадировало мыс Челюскина, и караван прижимался к Северной Земле. Ее синие очертания соответствовали названию — Северная. Здесь начались тяжелые льды. К нашему судну подошел ледокол «Мурманск» и взял на буксир, как говорят, — «повел за усы», вплотную скрепившись стальным канатом.

Но прошли самую малость, и канат порвался. Вахта начала закреплять новые усы, а льды, угрожая раздавить суда, стали сжиматься.



РЕЧКА КАЛИ

Коварная Арктика не сдавалась. Тогда в сватку вступал тезка — атомолод «Арктика». Он свободно проходил борт о борт, сокрушал льды и облегчал сжатие. А всесильный диспетчер арктических льдов — ветер успевает в течение часа разогнать или нагрудить их опять полным-полно.

Острова в Арктике одинаково неприютно-голые. Яркая вспышка маяка на ином не теплит белые холодные просторы. Спросишь в штурманской, какую, мол, проходим землю? Там глянут на карту с множеством цифр: «Остров Фринлей Южный». Подпишешь рисунок: дескать, вот мимо какого острова проходил!

В Карском море сыпал снег. Прошли такие же неприятно голые

острова архипелага Норденшельда, после чего льды разрежились. «Туллома» уже самостоятельно обходила их. Ледоколы оставили нас — они поведут на восток другие суда.

Диксон прошли на почтительном расстоянии. В бинокль были видны постройки, мачты на голом гребне, журавлиные шеи кранов, маяк на скалистом крае земли. Енисейский залив катил навстречу «Тулومه» волны. Или это море дыбилося, встречаясь с Енисеем?

Воронцово, Усть-Порт, Караул... В Дудинке мы должны сойти. Капитан и старший механик на прощание угостили нас свежесоленой ряпушкой и отварной картошечкой. Она белой горой дымила в тарелке, рассыпчато куржеваясь. Это блюдо было

необычайной роскошью в завершение ледового венца Таймыра.

«Туллома» подходила ночью к Дудинке. Рейдовый катер, сигнали огнями, шел за нами. Художникам груза не занимать: все перекочевало вниз. Товарищ мой — это замечательный свердловский художник Евгений Иванович Гудин. От Красноярска мы прошли с ним на грузовом теплоходе «Астрахань» в Дудинку, работали в Норильске, Талнахе, в Каяке, Хатанге, обогнули Таймир...

Тулмовцы долго махали нам сверху. А судно уходило в ночь к зовущим дальним огням створных знаков.

Репродукция
А. Нагибина

РУССКИЕ

Анатолий
КУЗНЕЦОВ

Оформление
С. Малышева

МЕДАЛИ



В одной статье невозможно рассказать о всех русских медалях — их слишком много. Горный инженер В. П. Смирнов составил в 1908 году список русских медалей, отчеканенных на петербургском Монетном дворе. В списке — более тысячи названий! Однако список далеко не полон: сохранились не все штемпели, с которых чеканились медали. От петровских времен, например, осталось всего лишь два штемпеля. Еще надо иметь в виду, что медали могли чеканиться и в другом месте, не только на петербургском Монетном дворе. Да и со времени составления этого списка прошло еще семьдесят лет...

Все медали можно поделить на две большие части — выпущенные в память о каких-либо событиях и для награждения за заслуги. Нас интересуют последние. Их, в свою очередь, делят на боевые, наградные, знаки отличия и памятные медали. Мы не станем разделять медали на эти четыре категории, а возьмем их все вместе, останавливаясь на главных и более известных. Ведь есть медали, которые были отчеканены в двух-трех экземплярах, а бывали и такие случаи, когда медалью награждался всего один человек. Например, медалью «За спасение человечества» во второй четверти XIX века была награждена одна лишь женщина-казачка «за подвиг». В чем заключался ее подвиг, мы не знаем. Известно только, что вместе с медалью ей выдали тысячу рублей.

Если орден пришел к нам из Европы, то родиной наградной медали можно считать Россию. Медаль, как знак отличия, известна в нашей стране около тысячи лет, а в европейских странах награждать знаками в виде нагрудных медалей стали лишь в XIX столетии.

За военные заслуги награждали на Руси гривнами и золотыми. Известно, что великий князь Владимир жаловал золотые гривны за победу над половцами. «В лето 6508 прииде Володарь со половцы в Киеву и изыде ношю со сретение им Александру Попович и Володарь и брата его и иных множество половец избн... и се услыша Володимир и возрадовался зело и возложи нань Гривну Злату.»

После удельных князей подобные награды раздавали и русские цари. Иван Грозный, например, жаловал золотыми и московками. «И Государь за ту службу пожаловал дворянам государевым по Золотой Ноугородке, а иным по Московке золотой, а иным — по золоченой».

Уже в те времена появились разграничения в наградах. Золотой португал с цепью мог получить только великий князь. Всевода мог носить на цепи золотой. Сотенный голова награждался золотыми новгородками и московками. А золоченые новгородки и московки предназначались для низших чинов — стрельцов, пушкарей, запальщиков, боярских и охочих людей, засечных сторожей, воротников, казаков...

Правительница Софья пожаловала медалями всех без исключения участников Крымских походов 1687—1689 годов, даже погибших в этих безуспешных кампаниях воинов — награды за убитых получили их семьи. Мастера Оружейной палаты и московского Денежного двора изготовили по этому случаю тысячи монет самых разных размеров — от награды в четверть червонца для простых стрельцов до огромного медальона на золотой цепи для Голицына.

С воцарением Петра I высокого уровня достигло медальерное искусство. Появилось много прекрасных наградных медалей. Над штемпелями, между которыми зажимались кружки металла, работали талантливые граверы. Петр I, бывая за границей, внимательно изучал монетное дело. В Лондоне, например, с устройством машин для чеканки Петра знакомил Исаак Ньютон. Петр приглашал западных медальеров к себе на службу, заботился о том, чтобы они обучали русских мастеров.

Обычно на лицевой стороне петровских медалей был «патрет» царя, а на оборотной — сцена сражения, в честь которого и за которое награждался воин. Полагалась и разъяснительная надпись.

По размеру и весу медали были рублевыми. Такие петровские медали, как «За победу под Калишем» (1706), «За победу при Лесной» (1708), «За победу под Полтавой» (1709), были без ушка.

Награжденным самим приходилось пробивать в них дырки, чтобы повесить медаль на шею или в петлицу. Позже, чтобы солдаты не разменивали награды, как рубли, их стали изготавливать с ушком. В Государственном Эрмитаже имеются солдатские и урядничьи медали за сражение при Полтаве с припаянными к ним ушками.

Петр I вводит традицию — награждать медалями всех участников сражений — и офицеров, и солдат. После Полтавской битвы Петр намеревался учредить для солдат и низших офицеров крест синего цвета с распятием Андрея Первозванного. Он приказал по своему рисунку изготовить для начала семь больших и семь малых крестов. Какова дальнейшая их судьба, неизвестно.

Для изменника Мазепы Петр I приготовил «орден Иуды» — огромную серебряную медаль в полпуда весом. На ней был изображен давящийся в петле Иуда. Но захватить Мазепу в плен не удалось. Медаль эта затерялась. Известно только, что при Анне Иоанновне ее носил придворный шут.

Русские медали первой четверти XVIII века изготавливались с величайшим искусством, украшались финифтью, алмазами, драгоценными камнями.

После смерти Петра I в России не награждали воинов медалями три с половиной десятилетия, хотя в эти годы происходили войны с Турцией и со Швецией, войны победоносные — был взят Перекоп и Очаков, присоединен Крым, капитулировала шведская армия, потеряв свои корабли. Правда, был отчеканен рубль «На мир со Швецией» (в 1743 году), но массового награждения им не проводилось.

В 1759 году, наконец, появилась медаль за победу под Кунерсдорфом. Она учреждалась в память победы над пруссаками для раздачи «бывшим в той баталии солдатам». Медаль имела форму рубля. Ее вручили 30 тысячам солдат.

При Екатерине II наиболее известными медалями стали Чесменская и Кагульская. Они чеканились с ушком для ношения. На лицевой стороне изображался молодой лик самой императрицы.



В 1769 году был учрежден орден св. Георгия и вскоре появилась первая русская медаль на Георгиевской ленте — «Победителю». Она была ромбовидной и давалась за турецкую войну 1774 года. В Турецкую же войну 1787—1791 годов была выпущена для нижних чинов очень редкая теперь медаль «Кинбурн 1 октября 1787», затем «За храбрость на водах очаковских июня 1788» и Очаковский крест с надписью «За службу и храбрость». Медаль «За храбрость на водах финских августа 13 1789 года» также носилась на Георгиевской ленте. Такая же лента была присвоена очень редкой ныне медали «За храбрость», которой награждали егерей Семеновского полка, высадившихся десантом на шведский остров.

Вскоре появилась и первая медаль на Владимирской ленте (орден св. Владимира учрежден 22 сентября 1782 года). По поводу заключения мира со Швецией в 1790 году был издан указ: «На все войска, кои противу неприятеля в деле были, раздать на каждого человека по медали на красной ленте с черными полосами».

Зимой 1790 года русскими войсками была взята неприступная турецкая крепость Измаил. За этот подвиг офицеры получили золотые кресты, а солдаты — медали на Георгиевской ленте с надписью: «За отменную храбрость при взятии Измаила Декабря 11 дня 1790».

Но самой необычной в XVIII веке стала медаль, которая была выдана за поражение. 24 марта 1790 года генерал Бибииков, атакуя Анапу, был разбит наголову, за что был отдан под суд. Но русские солдаты в этой битве проявили небывалый героизм. Потемкин испросил у царицы позволения наградить за мужество в этом бою одних только солдат. И они получили медаль «За верность».

Последними русскими медалями XVIII века стали солдатская «За труды и верность» и офицерская — «За

труды и храбрость при взятии Праги Октября 24 1794».

Павел I в России никого не награждал орденами св. Георгия и св. Владимира, учрежденными его матерью. Он установил свой орден — св. Иоанна Иерусалимского, а вместо медалей ввел для солдат donat этого ордена — медный мальтийский крестик с раздвоенными и острыми концами. На обратной стороне donata проставляли порядковый номер. Носился он в петлице на черной ленте, а выдавался за 20 лет беспорочной службы. Всего было роздано 1129 таких знаков, из них 17 сняты «за преступления» и возвращены в капитул. После смерти награжденного donat возвращался в капитул — в семье он не оставался.

Теперь этот знак — большая редкость. Известны всего три donata: в Эрмитаже — № 483, в Артиллерийском музее — № 913 и в Государственном Историческом музее — № 503.

В начале XIX века на петербургском Монетном дворе было отчеканено 26 медалей, в том числе несколько наградных крестов.

После добровольного присоединения Грузии к России в 1801 году в отдельных районах Кавказа возникли военные конфликты.

Крест «За взятие Базарджика» послужил наградой русским воинам за взятие штурмом в мае 1810 года этого города-крепости. Базарджик русские брали во всех русско-турецких войнах — в 1828-м и в 1878 годах, но награда в виде креста отмечает только самую первую победу.

Русско-персидская война длилась с 1805 по 1813 год, а русско-турецкая — с 1806 по 1812 год. Основной наградой солдатам за участие в них служил учрежденный в 1807 году серебряный крест на Георгиевской ленте — знак отличия Военного ордена. Этих наград до 1812 года было роздано более четырнадцати тысяч.

В результате русско-шведской войны (1808—1809) к России была присоединена Финляндия. Наибо-

лее удачные военные действия были проведены русскими войсками в марте 1809 года. Отряд под командованием Барклая де Толли совершил знаменитый поход по льду Ботнического залива. Корпус Багратиона был двинут на Аланские острова. Отряды русских оттеснили шведов и заняли Гриссельгамн и Умео. В честь этих побед отчеканены для награждения солдат две медали: «За переход на шведский берег» и «За проход в Швецию через Торнео». Медали эти также редки нынче, их почти не сохранилось.

Одной из интереснейших надо считать медаль «Для старшин Северо-Американских диких племен, Курильских островов и Сахалина». Она была учреждена в 1806 году. С 1799 года Алеутские острова, Аляска и северо-западное побережье Америки принадлежали России. Российско-Американская компания поставляла России меха и другую продукцию. Для поддержания такого источника дохода и была выпущена медаль. Ею награждались представители царской власти в Америке и служащие компании. Вожди «диких племен» тоже иногда удостаивались этой чести.

Всколыхнувшая всю Россию Отечественная война 1812 года принесла русскому солдату не так уж и много наград — всего три медали, если не считать иностранных. Прежде всего это широко известная медаль «В память Отечественной войны 1812 года», затем медаль «За любовь к отечеству. Земскому войску» и, наконец, медаль «За взятие Парижа». Правда, были еще ополченский крест и наперстный крест для священников.

Серебряной медалью «В память Отечественной войны» были награждены все солдаты, офицеры и ополченцы, сражавшиеся против французов в 1812 году — все без исключения, от солдата до фельдмаршала. Получили их также медики и священники, находившиеся под неприятельским огнем. Носилась медаль на голубой Андреевской ленте.



Манифестом от 30 августа 1814 года учреждена такая же бронзовая медаль для награждения дворянства и купечества. Разница между ними была только в ленте: дворяне носили медаль на Владимирской ленте, а купцы — на Анненской. В 1816 году разрешено было носить эту медаль старейшим женщинам дворянского рода, дети которых участвовали в войне. Женская серебряная медаль имела меньшие размеры и носилась на Анненской ленте.

После победы над Наполеоном на улицах русских городов появилось много шеголей, щедро увешанные боевыми медалями. Однако они были... фальшивыми, самодельными. Дело зашло так далеко, что 11 сентября 1814 года правительство издало специальное постановление «О запрещении делать медали мимо Монетного двора». Подобный приказ спустя несколько лет издал и Николай I, в котором запретил носить поддельные, литые из олова знаки отличия.

Медаль «В память Отечественной войны» на лицевой своей стороне имеет лучезарное «всевидящее око» и внизу надпись: «1812 год». На оборотной стороне медали надпись: «Не нам не нам а Имени Твоему».

Медаль «За взятие Парижа» была серебряной и впервые носилась на комбинированной Андреевско-Георгиевской ленте. Она учреждена 30 августа 1814 года и награждались ею все участники кампании 1814 года — как офицеры, так и солдаты. Но награждение началось только с 19 марта 1826 года, уже при Николае I, и продолжалось до 1 мая 1832 года. Александр I из дипломатических соображений не награждал его. И поэтому возникла одна любопытная история. На портретах героев Отечественной войны в Эрмитаже вы увидите и медаль «За взятие Парижа». Как же она появилась на мундирах героев, если ею начали награждать в 1826 году? Очень просто: портреты писались не сразу после окончания войны, а в 1819—1829

годах, и на тех портретах, что писались уже после 19 марта 1826 года, медаль «За взятие Парижа» присутствует, а на тех, что писались раньше, ее нет.

В начале 1826 года до Ирана докатились слухи о восстании в Петербурге и междуцарствии. Используя такой благоприятный момент, наследный принц Ирана Аббас-Мирза перешел со своим войском русскую границу. Вначале его 60-тысячная армия добилась значительных успехов, но вскоре Ермолов, а затем Паскевич и ветеран войны 1812 года Денис Давыдов наголову разбили персиян. Война окончилась полной победой России. Россия приобрела ханства Ериванское и Нахичиванское, часть Каспийского побережья и получила право держать на Каспийском море военные корабли. Эта блистательная победа была отмечена серебряной медалью «За персидскую войну», учрежденной 15 марта 1828 года. На лицевой стороне ее, внутри двух связанных лавровых ветвей, проставлены даты: «1826, 1827, 1828», а сверху — «всевидящее око» в лучах. С оборотной стороны надпись: «За персидскую войну». Носили медаль на Георгиевско-Владимирской ленте, а награждены ею были все участники военных событий — как офицеры, так и солдаты.

Расправившись с Ираном, Николай I объявляет войну Турции. Боевые операции начались одновременно на Кавказе и на Балканском полуострове, проходили успешно для русских, и в следующем году (2 сентября 1829 года) Порта запросила мира.

В честь победы над турками все участники этой кампании были награждены серебряной медалью «За турецкую войну». Медаль носилась на Георгиевской ленте. На лицевой ее стороне изображен лучезарный шестиконечный крест на поверженном полумесяце, слева — «1828», справа — «1829». На оборотной стороне надпись в лавровом венке: «За

турецкую войну». Медалью этой были награждены и участники Навагинского боя 20 сентября 1827 года.

Есть в русской истории мрачные страницы, написанные жандармами Европы, душителями освободительного движения и революций. И, конечно же, каждое участие в подавлении свобод обязательно отмечалось царскими наградами. К ним в первую очередь относятся медали «За взятие приступом Варшавы 25 и 26 августа 1831 года», «За усмирение Венгрии и Трансильвании 1849» и «За усмирение польского мятежа 1863—1864».

В России существовала традиция: награждать всех участников войны, но царь льстиво нарушил ее, наградив серебряной медалью «За взятие приступом Варшавы» только нижних чинов, участвующих в подавлении польского восстания. Медаль носилась на особой ленте синего цвета с черной каймой. На лицевой стороне медали изображен государственный герб — двуглавый орел, в центре которого под королевской короной порфира с польским одноглавым орлом. Сверху надпись: «Польза, честь и слава».

Французская революция 1848 года, революционные перевороты в Австрии, Пруссии и Венгрии, получившие заметные отголоски в России, были ненавистны Николаю I. Царь принял решительные меры. Сначала он издал манифест от 14 марта, в котором говорилось о «смутах, грозящих нисповержению законных властей и всякого общественного устройства, о наглости разрушителей порядка». «Но не будет так! — провозгласил царь. — С нами бог, разумеете языки и покоряйтесь, яко с нами бог!»

От слов царь перешел к делу, двинув армию в 400 тысяч человек в Польшу, Прибалтику и на Украину. Очаг революции пылал в Венгрии, неподалеку от польских границ, и русские войска двинулись туда.

Венгерский поход был «успешно» окончен. Все участники кампании на-



граждены учрежденной 22 января 1850 года серебряной медалью при Андреевско-Владимирской ленте, на которой под «всевидающим оком» сиял двуглавый орел, а по окружности надпись: «С нами бог, разумеете языцы и покоряйтесь». На оборотной стороне написано: «За усмирение Венгрии и Трансильвании 1849».

В коллекциях встречаются довольно часто бронзовые и латунные медали, на лицевой стороне которых под двумя коронами вензели «НІ» и «АІІ» и даты: «1853—1854—1855—1856». На оборотной стороне надпись: «На тя господи уповахом да не постыдимся во веки». Это медаль в память Восточной войны. Носилась она на четырех различных лентах.

После объявления Николаем I войны Турции (20 сентября 1853 года) бывшие союзники сплотились в едином стремлении противодействовать проникновению русского царизма на Восток. Россия оказалась в изоляции. Тем не менее военные действия русских продолжали развиваться успешно.

18 ноября 1853 года адмирал П. С. Нахимов с шестью линейными кораблями и двумя фрегатами в трехчасовом бою потопил и взорвал турецкие суда, овладел Синопом и взял в плен командующего турецким флотом Осман-пашу. Успешно было отбито нападение англо-французской эскадры на Петропавловск-на-Камчатке.

На Кавказе главнокомандующему Н. Н. Муравьеву удалось взять крепость Ардаган и Карс.

Успехи русских активизируют политику Англии и Франции, они заключают военно-оборонительный союз с Турцией и вскоре после этого — 16 марта 1853 года — объявляют войну России. Пронсходит заметный перелом в войне.

Союзники решают перенести войну на территорию России и отрезать от нее весь Крым.

Больше того, что сделали русские солдаты и матросы для защиты

Севастополя, сделать было нельзя. Французы вошли в город и, найдя одни лишь развалины, вернулись обратно в свой лагерь.

Все защитники Севастополя, в том числе и жители города, были награждены скромной серебряной медалью «За защиту Севастополя». Носилась она только на Георгиевской ленте. На лицевой стороне ее под двумя коронами стоят вензели «НІ» и «АІІ».

Кстати, французы и англичане за Крымскую кампанию награждали солдат и матросов не одной, а десятью медалями. Англичане — медалями за Альму, Балаклаву, Инкерман, Азовское море и Севастополь, французы же — медалями Трактир, Малахов курган, Кинбурн, Ле Редан Вер и Сент-Сесиль. На каждой из этих медалей был выбит номер, фамилия, имя, название части или корабля.

Следующими в ряду русских боевых медалей стоят «За взятие штурмом Ахульго», «За покорение Чечни и Дагестана», «За покорение Западного Кавказа» и крест «За службу на Кавказе». Все эти награды отражают историю Кавказских войн, период отечественной истории, хорошо известный нам по произведениям М. Лермонтова, А. Марлинского, А. Полежаева, Л. Толстого и других известных русских писателей.

О событиях в Средней Азии не хуже книг рассказывают нам картины русского художника В. В. Верещагина. Глядя на них, с глубокой болью ощущаешь все тяготы и мучения, легшие на плечи русского солдата, понимаешь, какими они были мужественными и какие им пришлось вынести испытания...

Серебряная медаль «За Хивинский поход» носилась на Георгиевско-Владимирской ленте. Ею были награждены все участники похода — и генералы, и солдаты, и джигиты, находившиеся в русских войсках.

Медаль «За покорение ханства Кокандского» была не серебряной, а

бронзовой, носилась также на Георгиевско-Владимирской ленте. Награждены ею все участники похода.

«За взятие Геок-Тепе» учреждено две медали — серебряная для непосредственных участников штурма и светло-бронзовая для всех находившихся в войсках Закаспийского края в 1779—1780 годах. Носилась она на Георгиевской ленте. Вензель «АІІ» под короной окружен бусами.

Серебряная медаль «За взятие Геок-Тепе», пожалуй, самая редкая из всех четырех среднеазиатских.

Медалей «За походы в Средней Азии» было две — серебряная и светло-бронзовая, обе на Георгиевской ленте. Серебряной награждались непосредственные участники сражений, светло-бронзовой — все бывшие в походах в 1853—1895 годах. На лицевой стороне медали вензели четырех императоров: вверху — «НІ», слева — «АІІ», справа — «АІІІ» и внизу — «НІІІ».

Довольно обычна в коллекциях медаль «В память русско-турецкой войны 1877-78 гг.». Их было три — серебряная, светло-бронзовая и темно-бронзовая. Эти медали приводят нас на перевал Шинку, под Плевну и к азиатскому театру Турецкой войны — к Ардагану, Баязету и Карсу.

За подавление известного под названием «боксерского», или восстания «большого кулака» в Китае была учреждена 6 мая 1901 года медаль «За поход в Китай». Она носилась на Владимирско-Андреевской ленте и была двух видов — серебряная и бронзовая.

Русско-японская война была проиграна. Сопrotивлявшийся 11 месяцев Порт-Артур пал. Об этих событиях, а также о героизме русских солдат и матросов, проявленных в этой позорной для царизма войне, рассказывают нам серебряная, светло-бронзовая и темно-бронзовая медали «В память русско-японской войны». Серебряной медалью награждались защитники Порт-Артура, светло-бронзовой — все непосредственные



участники войны на суше и на море, а темно-бронзовой — не принимавшие участие в боях, но находившиеся на службе в армии и флоте на Дальнем Востоке. Носилась медаль на Александровско-Георгиевской ленте. Любопытна надпись на оборотной стороне: «Да вознесет вас Господь в свое время».

История этой надписи весьма показательна для порядков царской России того времени. Когда Николаю II представили на утверждение проект этой награды, царь после слов «Да вознесет вас Господь» положил резолюцию: «В свое время» и подписал — «Николай». Тем самым он хотел сказать, что рано еще говорить о наградах и этой войне без побед. Резолюция царя была принята чиновниками за продолжение надписи. Никто не осмелился обращаться к царю за разъяснениями, русский бюрократизм оставался верен себе. Так и отчеканили медаль с надписью, в которой можно уловить некоторую издевку.

Говоря о боевых русских наградах, нельзя не упомянуть о медали «За храбрость». Массовой она стала с 1878 года, однако медаль с таким названием существовала в России очень давно, ею награждали на Георгиевской ленте еще при Екатерине II. До 1844 года медалью «За храбрость» награждались солдаты-инноверцы вместо знака отличия Военного ордена — серебряного креста. И только после 1844 года нехристианам стали давать знаки отличия Военного ордена, на которых изображение св. Георгия было заменено двуглавым орлом.

3 августа 1878 года была учреждена медаль «За храбрость», первоначально предназначавшаяся для награждения отличившихся чинов армии и флота пограничной службы. Медаль, как и знак отличия Военного ордена, подразделялась на четыре степени: золотая с бантом, золотая без банта, серебряная с бантом, серебряная без банта.

Медали нумеровались и носились на Георгиевской ленте ниже знака отличия Военного ордена, но выше всех остальных медалей. Лицевая сторона медали имела профильное изображение императора, а на оборотной стороне надпись: «За храбрость» и номер. Но были медали и без номера, ими награждались чины народов Средней Азии и Кавказа «за подвиги мужества на войне», гражданские лица и даже женщины. Такая медаль могла быть не только нагрудной, но и нашейной.

С 1896 года медаль «За храбрость» стала выглядеть несколько иначе: изображение Николая II было повернуто влево, а на оборотной стороне по окружности лавровая, дубовая и пальмовая ветви, перевитые лентой. С 1910 года этой медалью стали награждаться низшие чины полиции и охраны «за подвиги храбрости, оказанные при борьбе с вооруженными нарушителями порядка».

Статус медали был изменен в 1913 году — она стала называться Георгиевской медалью. Теперь ею награждали солдат и унтер-офицеров за мужество и храбрость в бою. Могли получить такую медаль и невоенные люди, проявившие мужество и храбрость в военное время.

В период от Февральской и до Великой Октябрьской революции на медали «За храбрость» чеканилось вместо императора изображение Георгия Победоносца.

Серебряных медалей «За храбрость», особенно медалей 4-й степени, сохранилось довольно много. Большинство из них составляют Георгиевские медали времен империалистической войны.

К наградным медалям относятся и памятные, отчеканенные в честь выдающихся военных событий. К наиболее распространенным из них можно отнести «В память 200-летия полтавской победы» (1909), «В память 100-летия Отечественной войны» (1912) и «В память 200-летия сражения при Гангуте» (1914).

Этими медалями награждались чины войсковых частей и флота, участвовавших в тех событиях. Скажем, офицеры и солдаты Семеновского полка награждались медалью «В память 100-летия Отечественной войны», поскольку этот полк участвовал в войне 1812 года. Получали эти медали и все чины, принимавшие участие в парадах, проводимых в честь юбилеев, а также официальные лица, готовящие эти торжества. И, наконец, ими награждались все прямые потомки по мужской линии генералов и офицеров, участвовавших в событиях. Исключение было сделано только для потомков генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова: медаль «В память 100-летия Отечественной войны» получали его потомки не только по мужской, но и по женской линии.

Существовали и наградные медали, отчеканенные в память коронации императоров и в память их царствования. Часто они бывали серебряными, хотя встречались и бронзовые. Такие медали носились на груди в ряде других наград, в отличие от многочисленных памятных жетонов, выпускаемых по этим случаям. Самой доступной из этих медалей была темно-бронзовая и светло-бронзовая медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых», учрежденная в 1913 году. Ею награждались даже дворники.

И, наконец, к наградным медалям относятся также и те, которые отмечали усердие в служении царю и его машине управления и подавления свобод. К этой группе можно отнести медали «За усердие», «За беспорочную службу в полиции», «За беспорочную службу в тюремной страже» и т. д. Только немногие из них, такие, как «За спасение погибающих» или «За труды по первой всеобщей переписи населения» (1896), вызывают у нас уважение.





Царь Иван

Сказ¹

**Алексей
ДОМНИН**

Между Волгою и Окой-рекой
Горы Дятловы — вековой покой.
На седых дубах — молода листва.
На моление шел народ — мордва.
И на тех горах, праздник празднует,
Воздавал хвалу солнцу ясному.
Над костром в котлах мясо варится,
Сусло пенится, каша парится.
Люди сами пьют и земле дают,
Чтобы мать-земля к ним добра была,
Скот бы холила и посев не жгла.

А над Волгою тяжких весел звук —
По реке плывет гордый царский струг.
Грозный царь Иван словно сын больной,
Он заботою полонен одной:
Для него Казань — как бельмо в глазу,
Для него Литва — словно пал в лесу,
А мордву воевать недосуг пока.
Глубоки леса — коротка рука.
На веселый луг, щуря темный глаз,
Править к берегу он дает наказ.
Вопрошает слуг: знать желаем мы,
Чи там курятся на холмах дымы,
То военный стан или мирный сброд?
Говорят гонцы: то мордва-народ,
Не крещеные люди здешние
Богу молятся — солнцу вешнему.

Не для прихоти, для большой игры
Царь нести мордве приказал дары...
От послов приняв подношение —
Серебро, меха, украшения, —
Старцы белые, как велит завет,
Стали в тесный круг, повели совет.
Мир пока стоит и Ока течет,
Гостю доброму у мордвы почет:

¹ Сказ написан по мотивам мордовских преданий.

Алексей Михайлович Домнин давно работает в литературе для детей и юношества. Первый его сборник вышел двадцать лет назад, а сейчас, в пору пятидесятилетия, у Алексея Домнина уже более 15 книг. Многие произведения писателя связаны с историей Урала, его героическим прошлым, былями и легендами.

Мы предлагаем читателям стихотворение из его новой книги.

И МОРДВА

Рисунки
М. Тарабукиной

Пусть готовят царю яства пряные,
Кашу ячневую, сусло пьяное.

А чтоб те дары донести верней,
Снарядили в путь молодых парней.
У парней на уме только дурь одна,
Глупый разум их — что горшок без дна:
По тропе идут и твердят свое —
Пропадет зазря их еда-питье,
А у них самих животы пусты...
Только скрылись с глаз, так и шасть в кусты!
Кашу слопали, сусло выпили,
В блюда черной земли понасыпали,
А в ковши набросали песок речной,
Да черпнули воды из реки лесной.
И у всех на виду без смущения
Поднесли царю угощение.
Свежий хмель еще им слепил глаза:
— Принимай дары, русский царь-мурзал..

Гнев Ивану-царю полоснул в висок.
Принял землю он и речной песок.
И сказал себе — не теряй ума,
Если рыба прет в сеть к тебе сама...
И лишь первые произнес слова,
Так и ахнула, замерла мордва.
Мне язык вещей, он сказал, знаком,
И не волен я преступить закон.
Не забуду, сказал, я об этом дне,
Когда землю свою вы вручили мне
С ее реками и озерами
И лесными ее просторами.
И о вас проявляя радение,
Принимаю ее во владение!
У людей мордвы свет померк в глазах,
Но что сделано — не вернешь назад,
В яму черную не попятиться,
В гору камушком не покатишься...

Горы синие да леса вокруг,
Плыл Окой-рекой гордый царский струг,
Где бросал государь горсти той земли,
Там и крепости, как грибы, росли.
Может, сказка та лишь в одном верна,
Что и шутке порой — велика цена.





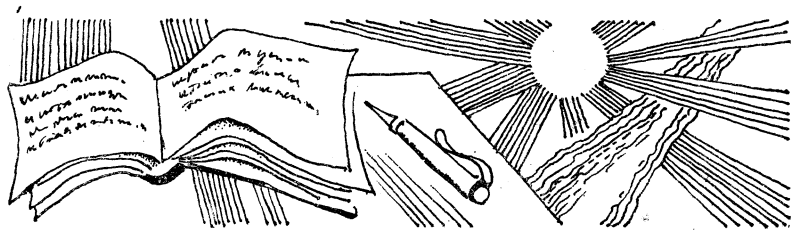
Владимир Конкин

Пять дней из жизни Владимира Конкина

День первый

«...Приходили люди с завода тракторных прицепов. Агитировали идти к ним работать после окончания десятилетки. Проголосовали за эту идею все. Я тоже, хотя сразу после десятилетки на производство вообще и на «прицепы», в частности, идти не собирался...»

Из дневника В. КОНКИНА



Последний, шестой, урок Володька ждал с тоской. Вчера проторчал полдня на Кумаке, потом помогал выяснять отношения на футбольном поле с командой соседнего двора. Проиграли соседям. Расстроились. Решили начать серьезные тренировки, и чтобы не откладывать дело в долгий ящик, тут же принялись гонять мяч. На немецкий времени, разумеется, не осталось.

Володька представлял, как в класс войдет Маргарита Георгиевна — «немка», она же и классная, бросит свое обычное: «Гутен таг, френд. Зитцен зи битте,— и затем уже по-русски: — Приступим к проверке домашнего задания. К доске пойдет... Конкин. Битте, геноссе Конкин».

Маргарита Георгиевна вошла в класс вместе со звонком.

— Гутен таг, френд. Зитцен зи битте.

Маргарита Георгиевна оглядела десятый «А». Взгляд ее остановился на Володьке.

— Конкин! Конкин, я к тебе обращаюсь!..

Володька встал, чувствуя, как начинают загораться его уши.

— Конкин, не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, чем ты занимался на перемене. Быстро приведи себя в порядок — через несколько минут у нас будут гости. Что за вид у тебя!.. — И уже обращаясь к классу: — Немецкого, к сожалению, сегодня не будет.

Володька стрелой вылетел из класса. Ему все еще не верилось, что беда пронеслась стороной. Пришлось спуститься в кабинет домоводства — попросить у девочек иголку и зашить лопнувший по шву рукав.

Когда он вернулся в класс, гости уже были там. За учительским столом сидели двое. Одного, с Золотой Звездой на лацкане, он уже знал по портретам в городской газете. Не мог только вспомнить его фамилии. Другого видел впервые.

— Наши гости, — начала классная, — директор строящегося завода тракторных прицепов Петр Василье-



вич Атаманичын и начальник отдела технического обучения этого завода Герой Социалистического Труда Борис Григорьевич Павлов.

Директор обстоятельно рассказывал о том, каким будет новый индустриальный гигант, какую нужду испытывает предприятие в квалифицированных кадрах. Слушал его Володька без интереса: все это было ему известно.

Речь Павлова была совсем короткой, и она больше понравилась Володьке:

— Заводу нужны рабочие. И не просто «рабсила», а образованное пополнение. У нас уникальное, новейшее оборудование. Короче, просьба — приходите к нам на завод, ребята! Обдумайте все хорошенько, посоветуйтесь дома — и приходите.

— Какие вопросы будут у десятого «А»? — обратилась к классу Маргарита Георгиевна.

— Можно мне?

— Пожалуйста, Коваленко.

— Петр Васильевич, а какие перспективы у тех рабочих, что поступают к вам на работу?

— Зависит от самих рабочих... Отличников производства выдвигаем на должности бригадиров, руководителей участков. Мы посылаем их совершенствовать мастерство на родственные предприятия Союза. Кто хочет продолжить образование — пожалуйста. Дадим направление в вуз.

— А как с жильем для рабочих? — спросила с места Степанова.

— Строим много!.. И еще будем строить. Недавно слан ясли-сад, намечаем строительство еще одного детсадика.

— Иди, Степанова, не раздумывай, пока места есть! — сострил Санька Гинкуль. — Целых два садика!..

Но тут встрял его тезка, Санька Гребенюк:

— Вы не совсем конкретно ответили, Петр Васильевич. Она, вероятно, хотела узнать: получит ли квартиру, если пойдет на завод.

— Не остроумно, Гребенюк... — покраснела Степанова. — Ни капельки не остроумно!

— А я вполне серьезно, — не унимался Гребенюк. — Я с перспективной мыслью.

— Ну что ж, вопрос деловой, — ответил директор. — Отвечаю: все рабочие семьи в течение года обеспечиваются двух-, трехкомнатными квартирами. Для одиночек — общежитие.

...Гости ушли, но десятый «А» остался на месте. И тут поступило предложение:

— Что, если на завод пойти всем классом? А?..

— Ой, девчонки, здорово!

— А институт-то как же?..

— Тут, славяне, есть обо что копья поломать...

— А что думать, идея добрая. Кто за — голосовать!

— Погодите, погодите, — остано-

вила Маргарита Георгиевна, — остыньте. Дело серьезное. Правильно говорил товарищ Павлов: следует все взвесить, посоветоваться с родителями...

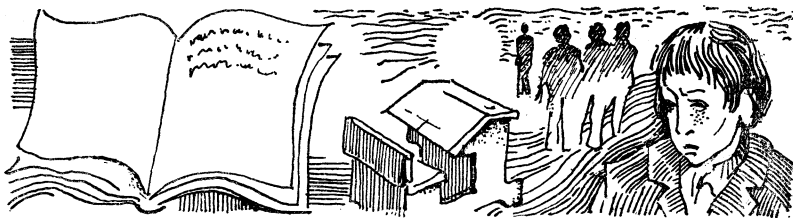
— Нет, давайте проголосуем. Кто — за?..

Володька огляделся. Одна за

День второй

«Зачем, ну зачем я поднял тогда руку?.. Полгода работаю «вприглядку». Самостоятельно работать Денисов мне не позволяет. Сегодня с ним снова поцапался. На этот раз, кажется, серьезно. Черт с ним, с Денисовым! И с работой этой. На тракторах свет клином не сошелся. Хватит! Не придут больше в цех».

Из дневника В. КОНКИНА



Предстоял рабочий день. Длинный, скучный и, как казалось Володьке, бестолковый. Володька прошел в конец пролета и свернул налево, на свой участок.

— Привет, шеф.

— Салют, молодая смена!

(Самому-то давно за двадцать перевалило?)

— Сегодня какие материальные блага производить будем?

— Ходовые оси лунохода.

— А без шуток?

— Если без них — то требуется переключиться на изготовление труб кронштейна. Пойдут на заднюю тормозную камеру прицепов. Возьмешь технологическую карту, чертеж и понаблюдаешь.

— Слушай, шеф, у меня глаза не косят? — неожиданно спросил Володька.

— Что, что? — не понял Денисов.

— Глаза, говорю, не в разные стороны смотрят?

— Да вроде бы нормально. А что?

— А то, что если еще не окривел, так окривею скоро. Ты мне скажи: сколько на тебя плятиться можно? Работать хочу! Сам! И чтоб нянька не гундела над душой. И чтоб не галдychили полгода одно и то же: «Бери, молодая смена, в ручки чертежик, стой возле шефа и смотри, как он течит детальки. Только хорошо смотри, а то не научишься».

— Ах, вот оно что, — понял наконец своего ученика Денисов.

другой поднимались вверх руки. Неужели все это серьезно? Неужели искренне? Санька Гребенюк, Галка Помошкова, Таня Трофимова, Люда Степанова... И вдруг — рабочими?! Невероятно!

Володька нехотя поднял руку. Не быть же белой вороной...

— Оно самое, — приподнял кепку Володька.

— Угу. — Денисов потер переносицу. — Ладно. Я тебя, кажется, понял. И потому делаем так. Вот заготовки. За смену надо изготовить 24 трубы, по норме. Попробуй обработать хотя бы десять. — И Денисов положил перед растерявшимся Володькой ключ от суппорта. Затем развернул технологическую карту. — Особое внимание обрати на допуски. Отклонение — до шести сотых...

Еще с минуту Володька стоял у станка. Затем решительно двинулся к горке заготовок. И вот первая вставлена в шпиндель. Володька проверил заправку резца и, стараясь подавить обуявшее его волнение, запустил станок. Осторожно подвел к вращающемуся на бешеной скорости цилиндру резец. Тонкая стружка, загораясь фиолетовыми переливами, заструилась крутой спиралью. Кажется, пошло. Он перевел станок на автоматический режим. Первый замер. Еще раз пройтись резцом — и тюгелька в тюгельку!

Как пролетела смена, Володька не заметил. Оторвал от станка голос Денисова:

— Ну и как?

Володька остановил станок:

— Наробил малость, — и, стараясь сдерживать так и раздражающую его рот счастливую улыбку, небрежно кивнул на стол, где лежали одиннадцать обработанных деталей.

— Хм, — качнул головой Денисов.

и стал перебирать трубы,— дай-ка мне микрометр.— Денисов одну за другой измерял диаметры деталей и, по мере того как раскладывал их на две неравные кучки, лицо его все больше и больше хмурилось.— Скажи, Конкин, контрольные замеры делал?

— Да вроде бы...

— Оно и видать, что вроде бы. Вот это,— Денисов указал на большую кучку деталей,— брак. А это то, что еще можно как-то довести до ума.

— Как брак?..— Володька почувствовал, что у него вдруг одеревенели ноги, а из-под кепки покати-

лась за ворот рубахи горячая струйка пота.— Как же это я?

— То-то и оно, что ты, а не я.

Володька, подавленный, молчал.

— Говорил же тебе — всему свое время. Так нет, оперативный простор подавай молодой смене!

— Говорил, говорил! — взвился Володька.— Только и делал, что говорил. Хватит! Наговорился. А я — наслушался. Черт меня дернул идти на твой завод.— И, швырнув в ноги Денисову пак ветоши, бросился к выходу из цеха.

— Конкин! Очумел! —

Но Володька даже не обернулся.

— Если по уголовной части, я — пас.

— Я серьезно, Денисов.

— Тогда валяй.

— Вот, глянь-ка сюда, — он протянул Денисову сложенный вчетверо листок, выданный из общей тетрадки.

— Не совсем понимаю: это что нацарапано, суппорт?

— Ну.

— Ага, а это, надо полагать, труба кронштейна. А это? Если резцы, то почему их два, а не четыре?

— Так вот в них-то, двух, и все дело. Понимаешь, по-моему, если переконструировать оснастку, обработку можно будет производить и двумя резцами. Насколько удобнее! Вот только задача: как приспособить под них оснастку.

— Так, так,— Денисов достал из кармана спецовки шариковую ручку и перевернул лист чистой стороной.— А что, если попробовать вот так...

Оба так увлеклись чертежом и расчетами, что не заметили подошедшего к ним фрезеровщика соседнего участка Положенцева, тоже Владимира.

— Тезкам — пламенный пролетарский! Чем заняты, что соображаем? Третий — не нужен?

— Здравствуй. Пожалуй, потребуешься,— поднял голову Денисов,— поди сюда. Как думаешь, маэстро, можно фрезой выкроить такую вот штуковину?

Положенцев внимательно изучил наскоро выполненный эскиз и поскреб затылок:

— В принципе, думаю, можно.

— Может, попробуешь? В принципе?

— Ну а почему бы нет. Только рассчитайте все.

— Будет,— почти в один голос ответили Денисов и Конкин.

Душа у Владимира пела. Работалось легко и весело. То ли оттого, что резцы в кладовой получили отличные — за полсмены не запорол ни одного, то ли оттого, что сегодня утром ветер, прорвавшийся в степь откуда-то из-за гор, принес первые, едва уловимые запахи весны. А может и оттого, что жизнь — прекрасная штука, что он знает, зачем живет, и что его окружают такие славные люди, как старший мастер механико-сборочного Николай Петрович Жиганов, Положенцев, его, Володькин, шеф Денисов.

...Денисов. По сей день Владимир не может простить себе той выходки, что позволил два месяца назад. Надерзил Денисову, наорал. А ведь сам бы на его месте, пожалуй, не сдержался и влепил бы такому горлопану смачную плюху.

...В тот день, ложась спать, он впервые не завел будильник, твердо

День третий

«Вчера весь вечер, не давала покоя мысль: а что, если трубу кронштейна вместо четырех резцов обрабатывать двумя? Вот, думается,— что можно! Только как придать резцам универсальность?»

Утра еле дождался. Денисов пришел в цех еще раньше меня. Умница этот Денисов. За каких-то полчаса переделал мой чертеж, подкрепил его расчетами и тут же отнес старшему мастеру».

Из дневника В. КОНКИНА



От заводского поселка до цехов всего несколько километров. Ехать машиной — десяти минут не будет.

Владимир, высунув голову в боковое окно кабины КамАЗа и шурясь от сильного, холодного встречного ветра, глядел на проплывающие мимо деревья молодых лесопосадок, упрямо вгрызающиеся ковшами в неподатливый, промерзший грунт экскаваторы, бетонные плиты оснований будущих цехов. Вдали видна громадина возводящегося основного производственного корпуса, занявшего 23 гектара земли. Почти на километр протянется линия конвейера, с которого ежегодно будет сходить несколько тысяч тракторных прицепов и полуприцепов.

...Восемь месяцев прошло с того дня, как он впервые проехал по этой самой дороге, тогда еще не имевшей асфальтового покрытия, проложенной в кумакской степи.

Кумакская степь!.. Сколько же ей довелось пережить за свой долгий век! Будоражили ее покой копыта неутомимых коней воинственных сарматов, рассекали зеркально

гладь Кумака острогрудые челны казачьей вольницы, стальным дождем секли ее осколки снарядов, выпущенных из жерл дутовых пушек. И вот несколько лет назад кумакская степь стала свидетелем еще одного события — здесь был вынут первый ковш вертикальной площадки будущего завода-гиганта. А чуть позже произошло еще одно событие, очевидцем которого был и Владимир: совсем неподалеку от того места, где сейчас стоит его цех, встретились две эпохи. Ковш экскаватора, рывшего котлован, неожиданно вынес на поверхность земли диковинной формы сосуд. Оказалось, что ковш попал на древнее сарматское захоронение. Приостановились работы, приехала группа археологов, начались раскопки. Одна находка — золотая диадема — стала в ученом мире сенсацией года.

...Вот и знакомый цех.

Денисов оказался и на сей раз верен себе; несмотря на ранний час, уже взвился у станка.

— Привет, шеф! Дело к тебе есть.

решив, что теперь уже это ни к чему: вставать с петухами больше не придется.

Однако пришлось.

Разбудила мать, стянув с его головы подушку, которой он имеет привычку накрываться.

— Володя, к тебе пришли.

— Кто еще?

— Не знаю, парень какой-то.

Недоумевая, кто бы это мог заявиться к нему в такую рань, Владимир натянул брюки и вышел в коридор. На пороге стоял... Денисов.

— Привет, молодая смена,— смущенно улыбнулся тот.

— Привет,— буркнул Владимир, недоумевая, что могло привести шефа к нему домой. «Сейчас заведет пластинку,— подумал Владимир,— проработывать начнет; выбрал же время—чтоб мать застать».

У него было чувство неловкости перед Денисовым, но еще больше было обиды. На себя, на завод, на весь мир... Ну, решил уйти—разве не вправе? Чего ему надо?

— Воспитывать пришел?— бесцеремонно спросил Владимир.

— Да ты не лезь в бутылку, Конкин, не лезь,— остановил его Денисов.— Не прав я был с тобой вчера. Ума не хватило, понимаешь ли, оттого и вышла вся эта ерунда... Короче, виноват. Извини меня, Конкин. Извини, что объяснить тебе толком не смог.

Всего ожидать мог Владимир от визита Денисова, но только не этого—не извинений... Злость на Денисова, копившаяся все это время, куда-то бесследно исчезла.

— Это ты меня, Денисов, извини: как папан вел себя вчера...

Денисов неожиданно рассмеялся, да так заразительно, что Владимир невольно поддержал его смех. И понял: не уйдет он с завода.

Денисова и Конкина вызвал старший мастер. Положив перед ними листок, испещренный столбцами цифр, он сообщил:

— Ваша разработка в общем-то не нова, но польза от нее несомненная. Экономисты тут приблизительно подсчитали, что с ее помощью вместо 27—30 минут каждую трубу кронштейна можно обрабатывать почти вдвое быстрее. А это значит, что за смену выточить 40 деталей—дело реальное. Что ж, поздравляю с находкой. Завтра оформлю заказ на изготовление вашей оснастки, только постарайтесь сегодня подготовить рабочий чертеж.

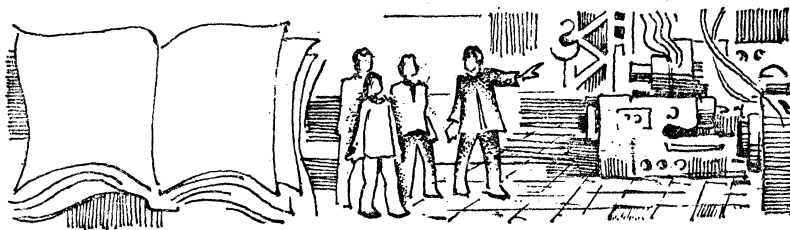
— Сделаем,— заверил Владимир,— но... просьба есть к вам, Николай Петрович.

— ?

— Хотелось бы, чтобы оснастку изготовил Положенцев. Он уже знаком с чертежом.

— Положенцев? Что ж, не возражаю.

День четвертый



Спать вчера Владимир лег поздно—суббота. За день успел сделать многое: навестил приятелей, побывал в библиотеке, несколько часов помаковал «Белый клык» Джека Лондона. Дождавшись прихода из школы братьев Юры и Витьки и сестры Валентины, накормил их обедом. Потом забежала перекусить мать. Уходя снова на работу, попросила сына:

— Володь, ты бы сходил сегодня к Виктору на родительское собрание, а то я вряд ли освобожусь до шести.

Возвращаясь с собрания, был полон желания устроить брату головомойку. С учебной у того дело обстояло благополучно, а вот с поведением...

Распекая брата, Владимир назидал, как назидал его самого в свое время отец:

— Пойми, разгильдяй, простую истину: без среднего образования и прочных знаний сегодня и шагу не ступить. Голова, голова прежде всего нужна! А ты...

— А что я?

— Не возражай, охломон, старшим. Как ведешь себя? Математичка жалуется, русачка—тоже. На уроках физкультуры чего вытворяешь?

— А сам что вытворял? Думаешь, не знаю? До сих пор пацаны говорят в школе!

— Ну, ты поговори мне!—сунул он кулак под нос Витьке.—Поговори!—Но тут же опомнился: такого отец никогда не позволял себе ни с кем из восьмерых своих детей. И он сказал совсем уже мягко и примирительно:—Ладно, иди умойся, поешь и—за уроки. А завтра... Хочешь на Кумак рванем, а? На пару?

— Не врешь?!

— Слово.

...Вот так всегда: вставать на работу—еле глаза продираешь, так спать хочется. Ждешь как манны небесной выходных, думаешь—отоспишься за всю рабочую неделю. А придут выходные—встаешь ни свет ни заря. И сна—ни в одном глазу.

Шли долго, пока не устали. Пришли на плоскую плиту дикого камня, затащенного кем-то на макушку старого кургана, развернули сверток с бутербродами.

Курган был невысок. Но панорама строящегося завода просматривалась отсюда неплохо и выглядела впечатляюще. Владимир пытался представить, как будет выглядеть отсюда вся заводская территория, когда закончится строительство. Неужели все это будет завод? А ведь будет! Уже в 1978 году введется в эксплуатацию около пятидесяти тысяч квадратных метров производственных площадей, рассчитанных на выпуск 5 тысяч прицепов в год. Пять тысяч! Владимир прикинул в уме, сколько же это будет в день. Прилично!

— Вов, а Вов! А чего к тебе Денисов не приходит? Поругались?

— Да нет, Витек. Денисова на соседний участок перевели, мастером. Он, брат, целыми вечерами в библиотеках торчит—наверстывает... И выходные—там. А ведь у него семья, ребенок.

— Да, нелегко, поди...—вдохнул Витька.

— Разумеется,—улыбнулся Владимир тому, с какой серьезностью произнес эту фразу брат.—Вот женишься—сам узнаешь!

— Не-е...

— Что «не»?

— Не женюсь. Баловство!.. И ты, Вов, не женись, плохо разве тебе со мной?

Владимир натянул Витьке кепку на нос и рассмеялся:

— Ну, даешь... Философ! Ладно, перекусили—и дальше.

— Вов, а почему ты на завод пошел? Ведь не хотел раньше?

— А теперь наоборот.

— Нравится?

— Стало нравиться.

— Хм... Вся жизнь стружить железяки—с ума сойти можно!

— Во-первых, скажу тебе, и институты для пролетариев не закрыты. А во-вторых—с ума вовсе не обязательно сходить.

Совсем недавно Владимир и сам так думал. Но вот понял: нет «серых» профессий, есть «серые» работники...

Вот, скажем, профессия—токарь. Ну что в ней необыкновенного? Любого можно научить. И медведя, говорят, можно научить гошком пользоваться... А вот мастером своего дела стать!

Первое время ломал Владимир за смену по 5—6 резцов, пока не выполнял всю дневную норму. И серьезного внимания на это не обращал. Жизнь резца определена 90 минутами — чего уж тут... Но, наблюдая за работой Денисова, заметил: ему резца хватает аж на две смены. Не всегда, правда, но зачастую... Тот же резец, и станок тот же.

Плюнул однажды на свое самолюбие, поинтересовался: почему не получается так же? «Все дело, — говорит, — в заправке резца. Покажи-ка свой». Показал. Он его бросил в свой ящик: «На мои, попробуй ими».

— И что ты думаешь? За смену лишь одна поломка. И понял я в тот день цену такому «пустяку», как за-

правка резца. Сколько я терял за день только на их смене! Сменить 5—6 резцов — потерять в смену до получаса. За рабочую неделю — до трех часов. А за месяц? Год? Соображаешь? Так-то, брат.

— Да-а, — согласился Витька, — значит, ты — не из «серых»?

— Пока сероват еще, Витек, сероват... — Владимир не закончил свою мысль и, остановившись, взял брата за плечо, — слышишь?..

Откуда-то доносились едва улавливаемые ухом звуки: «Ка-га-а... Ка-га-а... Ка-га-а...» Витька задрал голову и увидел высоко в небе белый клин птиц.

— Гуси! Гуси пошли!

— Они!.. Значит, все: это — весна!

Дом на Мышьяковке

«В Нижегородский губисполком, для направления Сормовским военным и гражданским властям. 8.VII. 1919.

Прошу немедленно назначить строгую и абсолютно беспристрастную, через надежных коммунистов, лично известных, проверку... составить фактическое описание, сколько домов, квартир и комнат занято (каким числом душ) служащими и высшим техническим персоналом; какой заводской дом просят для детского дома и какой можно дать; точно проверить, кто должен был заведовать этим, имена ответственных лиц, адреса их, равно тех, кто произведет расследование. Об исполнении сообщить мне тотчас через почту или с оказией.

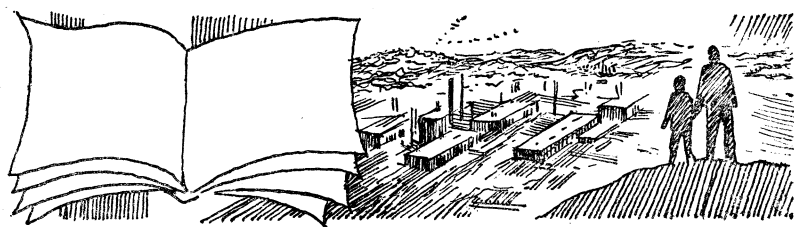
Председатель совета обороны В. Ульянов (Ленин)».

Это письмо было охранной грамотой для сормовских беспризорников. 1919 год. Двухэтажный дом на Мышьяковке... Мария Владимировна Черновверхская-Капранова была здесь одной из первых воспитательниц. «Никогда не забыть мне тех ребятешек, — вспоминает она, — что после санитарной обработки и переодевания в чистые холщовые костюмы пришли в столовую нового детдома. Их лица светились оттого, что впервые на них не кричат, не толкают, не бросают с насмешкой кусок хлеба, а по-матерински ведут к столам, где в чашках дымятся наваристые домашние щи».

Летом воспитанники выезжали на Волгу, где был летний лагерь. Малыши с упоением слушали рассказы о созвездиях и планетах, о насекомых, лекарственных травах.

Как самую драгоценную реликвию бережет Мария Владимировна дневник, написанный ею в 1919—1920 годах, где каждая страница рассказывает о незабываемой атмосфере добра, окружавшей вчерашних попрошайек и воршиек — сормовских беспризорников.

День пятый



«...Три дня не открывал дневник. Три дня на больничном, подхватил модную болезнь — грипп. Скажи мне год назад, что человек может вот так скучать без завода — не поверил бы.

Наверстываю упущенное, второй раз берусь сегодня за дневник. Какое событие произошло без меня на заводе! Эту заметку вырезал из городской газеты «Орский рабочий».

«Есть 1000-й тракторный прицеп!»

С утра у всех производственников сборочно-окрасочного цеха № 18 завода тракторных прицепов было приподнятое настроение. Долгожданный момент наступил. По главному конвейеру «подходит» на сборку рама 1000-го тракторного прицепа...»

«...Только что кончил спор с Юркой. Орали до хрипоты. Спорили о счастье человеческом. Завалили друг друга ворохом доводов, а убедить никто никого так, кажется, и не сумел.

После драки всегда легче махать кулаками. Пришло в голову: разве все то, что я и мои товарищи делаем там, на заводе, своими руками, — не счастье? Разве сознавать, что ты не просто сторонний наблюдатель тех событий, что разворачиваются в кумакской степи, но и лично причастен ко всему этому — не счастье?

Может, все это — голая патетика, может, я и не прав. Вполне может быть. Но такое понимание счастья меня устраивает вполне».

Из дневника В. КОНКИНА

**Александр
МАХЛИН**

г. Орск

*Портрет В. Конкина
выполнен В. Старостиным*

*Оформление
А. Банных*





«Я УШЛА В ЗАПОЛЯРЬЕ...»

**Борис
ЗЕЛИЧЕНКО**

Трудно однозначно определить состояние человека, когда он встречается с Арктикой... Ольга Грошенко в 1972 году еще только защитила диплом ВГИКа, когда получила приглашение экспедиции «Метелица» на роль кинооператора. Через год она шла со своими подругами от Воркуты до Амдермы — маленького поселка на берегу Ледовитого океана. Тогда она впервые почувствовала власть бескрайней ледяной пустыни...

В этом году исполняется двенадцать лет с того дня, когда небольшая группа московских лыжниц со своим лидером Валентиной Кузнецовой, мастером спорта, совершила первый сверхдальний поход Москва — Ленинград за семь с половиной суток. Так родилась «Метелица».

В мае 1977 года десять женщин вновь совершили научно-спортивную экспедицию по архипелагу Земля Франца-Иосифа. Среди них была снова и Ольга Грошенко, кинооператор Свердловской киностудии. Почастливилось еще раз встретиться

с тишиной и безмолвием Севера, со свирепой пургой Арктики.

«Метелица» не только ставила рекорды — она испытывала новое снаряжение и сублимированные продукты питания, выпускаемые для работы на Крайнем Севере. И такая задача стояла: как будет существовать женская бригада в экстремальных условиях полнейшей оторванности от людей — «заказ» Института медико-биологических проблем. Все готовилось строго, точно, по особому плану: жилье, одежда, питание, медицинское обеспечение, лыжи. Обсуждался и утверждался режим.

Старт был дан на острове Грэм-Белл. Затем — пролив Вендербиля, мимо островов Винера и Циглера. Шли с востока на запад. За четырнадцать дней «Метелица» одолела 260 километров и финишировала на острове Хейса.

Какие это были километры!..

— С прежними походами даже не сравнить, — говорит Ольга Грошенко. Несмотря на трудности пути, снимать она старалась каждый день.

Несколько лет назад в «Огоньке» было напечатано стихотворение «Розовая чайка». Там есть такие слова:

Я ушла в Заполярье, в голубые снега,
По Биррангам ходила,

морем Лаптевых шла,
И приветствовал Север, являясь
ко мне
Розовой чайкой во сне...

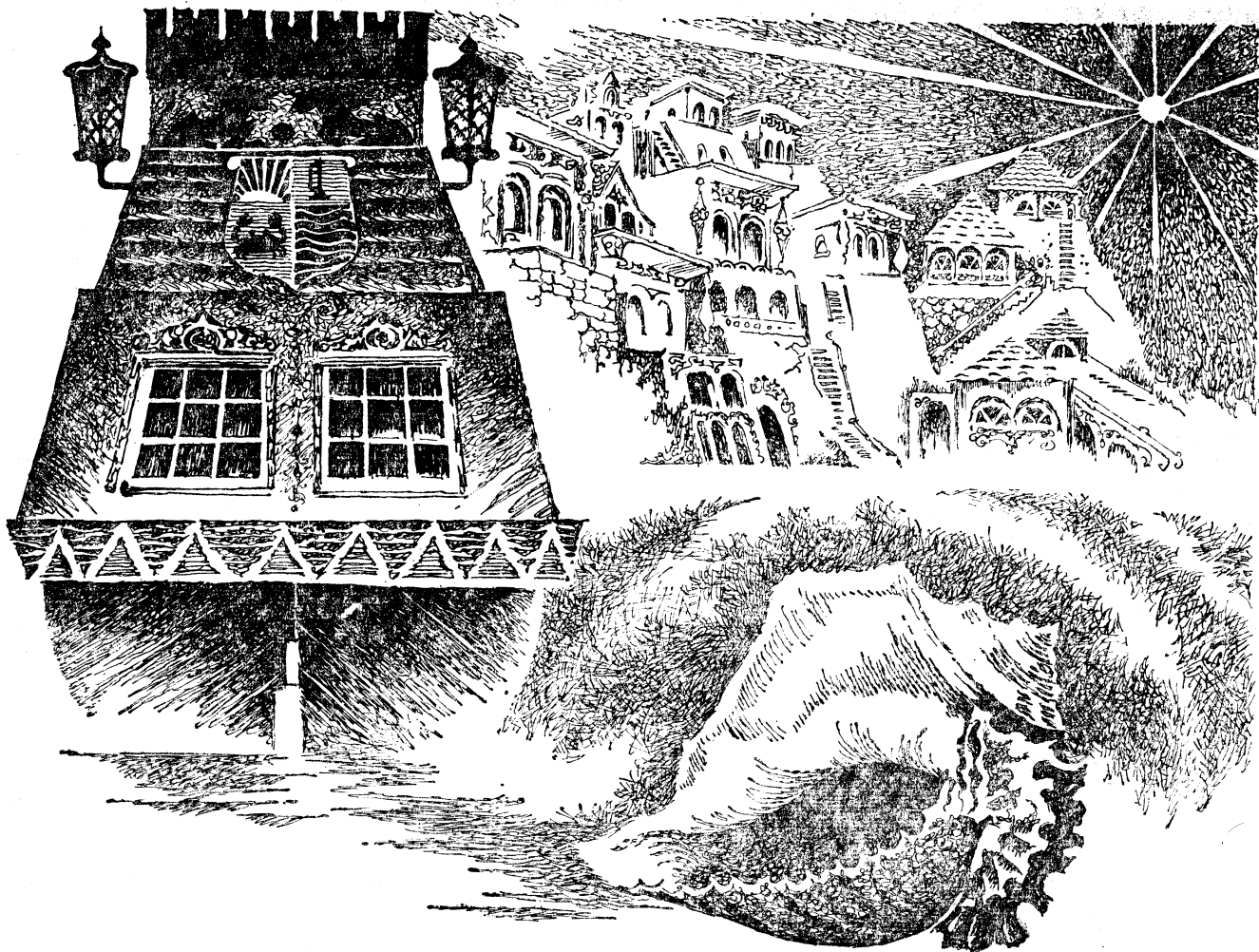
Автор стихов, которые так любят девушки из «Метелицы», — Татьяна Реутова, участница всех арктических походов, подруга Ольги Грошенко.

— Какие планы впереди? — спрашиваю у арктического оператора.

— Думаем, что хорошо бы забросить «Метелицу» на одну из дрейфующих станций — «СП-23», а оттуда «махнуть» на Северный полюс. Но это пока не планы — мечты...

На снимках: «Метелица» в пути; кинооператор Ольга Грошенко.





**Владислав
КРАПИВИН**

Рисунки
Е. Стерлиговой

ВЕЧНЫЙ

Повесть



Небольшая повесть «Далекие горнисты», где читатели впервые познакомились с юными героями Владислава Крапивина — Валеркой и Братишкой, Володькой и самим рассказчиком, сохранившим добрую память о детстве, стала как бы истоком второй его повести «В ночь большого прилива» («Уральский следопыт», 1977, № 12). С теми же основными героями встречаемся мы и в новом произведении Владислава Крапивина, заключительной повести трилогии, — «Вечный жемчуг».



ЖЕМЧУГ

1

Три дня мы с Варей жили у ее родителей в Старокаменке. Потом Варя осталась, а я на такси вернулся в город.

Колеса машины шумно шипели на сыром асфальте и с размаху вспарывали мелкие лужи. К ветровому стеклу прилип желтый кленовый лист. Когда машина пронеслась мимо фонарей, лист просвечивал, как тонкая ребячья ладошка.

Было поздно. Я безнадежно опаздывал в театр на совещание. Вопрос обсуждался важный: об открытии нового сезона, и я заранее представил, каким взглядом встретит меня наша грозная директриса Августа Кузьминична. По-

этому решил не заезжать домой и сразу ехать в ТЮЗ.

Машина проскочила мимо нашего переулка с одинокой лампочкой на углу. И я не понял в первый миг, отчего появилась тревога. Сначала это было смутное ощущение какого-то неблагополучия. Потом оно перешло в острое беспокойство...

Еще несколько секунд я убеждал себя, что мне просто от усталости привиделась за искрящейся сеткой дождя тощая мальчишечья фигурка с поникшими плечами. Потом сказал водителю:

— Простите, я забыл. Надо вернуться, заехать...

Шофер притормозил и заворчал, что на узкой улице не развернешься и надо было думать раньше.

Я торопливо расплатился и зашагал назад.

Дождь был не очень холодный, зато нудный какой-то. Сеял и сеял. С кленов падали в лужи большие капли. Я придумывал самые искренние извинения, которые скажу Августе Кузьминичне, и ругал себя за разболтанные нервы.

Но, оказывается, ругал зря.

Он в самом деле стоял на углу, у столба с лампочкой. Прижимал к животу большого рыжего кота Митьку и пытался прикрыть его от дождя промокшим подолом рубашки-распашонки. Митька не ценил такой заботы — дергал задними лапами и нервно колотил хозяина облипшим хвостом по мокрым ногам.

— Ты сумасшедший, — сказал я, накрывая их обоих плащом. — Ты что здесь делаешь?

Он заулыбался, весь потянулся ко мне и вдруг смутился:

— Митьку искал... На улице дождь, а он все бегаёт...

— У Митьки-то шкура, а у тебя... Совсем раздетый! Вот угодишь в больницу перед самым началом учебы!

— Да не холодно, — пробормотал он и вздрогнул под плащом. Потом тихонько сказал: — Хорошо, что ты приехал.

— Еще бы! Иначе тебя пришлось бы на печке сушить... Митьку искал! Нашел ведь, так зачем еще торчишь под дождем?

Он опустил голову.

— Я ждал.

— Кого ждал?

— Ну... может, мама приедет.

— Разве она уехала?

— Ага, утром. В Лесногорск к тете Тане.

— Тогда какой же смысл ждать? Разве она успеет за день?

Он глянул на меня и опять опустил голову.

— Ну... может, успеет...

Снова шевельнулось во мне беспокойство. Я наклонился.

— Послушай, а почему ты не ждешь дома? Володька, что случилось?

Он поднял лицо, усыпанное блестящим дождевым бисером. Если речь шла о серьезных вещах, Володька не лукавил. Он вздохнул и сказал, не отводя глаз:

— Я там почему-то боюсь.

Каждый человек чего-нибудь боится. Так уж устроены люди. Володька боялся всякой мелкой живности: тараканов, мохнатых ночных бабочек, гусениц, оводов и даже ящериц. Боялся одно время хулигана Васьки Лупникова по кличке Пузырь. Боялся, что станут смеяться над его дружбой с Женей Девяткиной (хотя никто не смеялся). Но никогда в жизни ему не было страшно дома. Он с пяти лет был самостоятельным человеком и даже ночевал один, когда мама его уходила на ночные дежурства в больницу.

— Ты не заболел? — осторожно спросил я.

Он энергично помотал головой. Лоб у него был холодный.

— Так что же случилось, Володька?

Он виновато пожал плечами.

— Пошли, — решительно сказал я.

Дома я сразу же погнал Володьку под горячий душ. Пока он плескался в ванной, я устроил мокрого Митьку у электрокамина и осмотрелся. Все было привычно и знакомо. Что могло напугать Володьку в этой комнате?

Раньше здесь жил я. Целых четыре года. Потом мы с Володькой и его мамой поменялись квартирами. Это Володькина мама предложила, когда узнала, что мы с Варей хотим пожениться.

— Вам, Сергей Витальевич, внизу удобнее будет, — сказала она. — Комната попросторнее.

— Нам-то удобнее, — возразил я. — А вам? Вас тоже двое.

— А вас, глядишь, скоро трое будет, — улыбнулась она. — Коляску-то по лестнице нелегко таскать.

Володька, который был при этом разговоре, пристально посмотрел на меня. Я пробормотал, что «конечно, спасибо и я посоветуюсь с Варей», и, видимо, покраснел. И поспешил исчезнуть. Володька догнал меня на лестнице. Несколько секунд он стоял понурившись. Наконец шепотом спросил:

— А вы... пускать меня будете к себе... иногда?

Я нелегко прижал его к свитеру и сказал, что он дурень.

Под Новый год была свадьба. Не долгая и не шумная. Володька сидел среди гостей, солидный и серьезный. Пил газировку, ел салаты и, кажется, чувствовал себя неплохо. Но потом, когда за столом царило уже шумное и слегка

усталое веселье, я увидел, что он непонятно смотрит на нас с Варей мокрыми глазами. Я заерзал и, пробормотав Варе «извини, я сейчас», хотел пробраться к Володьке. Но она строго прошептала: «Сиди!» Встала и сама подошла к нему. Что-то сказала, обняла за плечи и увела в коридор. В дверях оглянулась и улыбнулась мне. Я подумал, что она сама похожа на Володьку, хотя совсем светловолосая и с веснушками. Недаром у нас в театре она играла озорных и храбрых мальчишек.

Они вернулись минут через десять. Глаза у Володьки были сухие и веселые. Он ввинтился между гостями рядом со мной и зловеще прошептал:

— Теперь мы будем вдвоем тебя воспитывать, вот. Будешь бриться каждый день и учишься не разбрасывать вещи.

— Инквизиторы... — сказал я с облегчением...

Жить на втором этаже Володьке нравилось. Он придумал такую штуку: привязывал к нитке граненую пробку от графина, спускал ее из своего окна и звякало о наше стекло. Это означало: «Вы про меня не забыли? Можно вас навестить?» Если мы были заняты, он не обижался. Но чаще всего Варя или я стучали в потолок ручкой от швабры. И тогда Володька спускался сам.

Спускался хитрым способом. Напротив наших окон рос могучий тополь, и от него над крышей протянулась крепкая ветвь. К этой ветви Володька прицепил несколько блоков, пропустил через них капроновый шнур и к одному концу привязал большую ребристую шину от грузовика. Он выбирался из окна, усаживался на шину и, перехватывая свободный конец веревки, плавно приземлялся в траву за нашим подоконником. Эту систему он называл «парашют».

При взгляде на «парашют» меня оторопь брала. Сам-то Володька щуплый и легонький — его хоть на суровой нитке спускай. Но как тонкий шнурок выдерживал тяжеленную шину?

— Вот грохнешься однажды..

— Ой уж...

— Сломаешь шею, тогда будет «ой уж»!

Володька насмешливо фыркал. Но я не отступал. Очень уж ненадежно выглядела веревочка. Наконец Володька рассердился, глянул в упор потемневшими глазами и решительно сказал:

— Ну что ты трепыхаешься? Эту веревочку мне Женька подарила. У друзей веревочки никогда не рвутся.

Чтобы доказать это, он спустился на «парашюте» вместе с Женей, да еще рыжего Митьку прихватили. И все кончилось благополучно, только шиной придавило к земле Митькин хвост, и бедный кот заверещал, забыв про солидность и достоинство...

А в начале августа Володька пришел без предупреждения. Остановился в дверях. Веревку, скрученную в моток, он держал на согнутом локте и поглаживал, как живого котенка. Печально глянул на нас исподлобья.

— Ты чего, Володенька? — встревожилась Варя.

— Да ничего, — со вздохом сказал он. — Так... Женька вот уехала...

— В лагерь? — глупо спросил я.

— В Африку, — сумрачно сказал Володька.

Я косо глянул на него: «С тобой по-хорошему, а ты дразнишься».

— Да правда в Африку. На целый год, с родителями. Они геологи, их послали африканцам помогать...

— Год — это долго, — сочувственно сказала Варя. — Чаю хочешь с вареньем?.. Ну ничего, приедет ведь.

— Хочу, — сказал Володька. — Приедет... Когда еще...

Варя вышла на кухню, а Володька подошел осторожно, коснулся щекой моего рукава. Поднял печальные глазки.

— Ты, смотри, никуда не уезжай надолго. А то совсем...

2

Оставляя мокрые следы на половицах, Володька выбрался из ванной. Он яростно тер полотенцем всклокоченную голову и на меня не смотрел. Я понимал, что он хочет скрыть неловкость за недавний страх.

— Одевайся в сухое, а то опять продрогнешь...

Он раздраженно шевельнул худущими лопатками (без тебя, мол, знаю) и с головой и ногами скрылся в недрах платяного шкафа. Послышалась возня и хмурое ворчанье:

— Никогда ничего не найдешь...

Наконец он вылез. Вытащил модную майку, украшенную иностранными газетными заголовками, и новенькие шорты защитного цвета. Майка была ему впору, а шорты велики. Мама купила их Володьке весной, она надеялась, что сын за лето подрастет. Однако Володька вытянулся немного, но в ширину ничуть не увеличился, и штаны болтались на нем, как юбочка. Сползали.

— Ну и жизнь, — капризно сказал он.

— Надень ремень, вот и все...

Володька ехидно заметил, что эта умная мысль ему тоже пришла в голову. Но старый ремешок от потерял на пляже, а широкий командирский пояс подарил... одному человеку.

— Кому это?

— Ну... Женьке. Когда уезжала.

Он вдруг вспомнил что-то, сердито поддернул шорты и схватил со стола белую веревочку. Ловко опоясался ее концом, а весь моток, не обрезая, сунул в карман.

Капроновый тонкий шнур даже на вид был скользким. А узелок с легкомысленной петелькой выглядел совершенно ненадежно.

— Развяжется, — усмехнулся я. — И потеряешь штаны.

— Не развяжется, — рассеянно откликнулся Володька.

У него дурацкая привычка: вот так, между делом, отрицать очевидные вещи.

— Ведь развяжется, — сдерживая раздражение, сказал я. — Через несколько шагов.

Этот тип равнодушно сообщил:

— Мой узелок никто не развяжет. Кроме меня.

— На что спорим? — сухо спросил я.

Он сунул руки в карманы, выпятил живот и предложил:

— Развяжи без спора.

Ну, ладно... Я поставил перед ним стул, неторопливо сел, двумя пальцами взял капроновый кончик и слегка потянул.

Узелок был прочнее, чем казалось. Я потянул посильнее. Гм... Ч-черт... Я разозлился и дернул изо всех сил! И... с чем это сравнить? Представьте, будто вас попросили порвать нитку, а оказалось, что это стальная струна.

Узел не поддавался, а Володька от рывка подлетел ко мне вплотную. Я встретился с его сердитыми глазами, и... мы поняли, что обманываем друг друга. Спорим о всякой ерунде, о веревочке, и стесняемся заговорить о главном.

Я взял Володьку за колючие холодные локти.

— Ну, что ты... Ну, давай разберемся. Чего ты испугался?

Он отвел глаза, подумал, глядя в пол. Вдруг сел ко мне на колени и полусшепотом попросил:

— Помолчим немного.

— Ну... хорошо. И что будет?

— И будет... пусто.

Он это спокойно сказал, но я ощутил, как у него под майкой струнами натянулись мышцы. Тогда я плотно прижал его к себе.

Стало тихо. Перестали потрескивать спирали в электрокаmine. Рыжий Митька кончил вылизывать подсыхающую шкуру и непонятно смотрел на нас.

Сначала ничего не было. Потом... потом тоже ничего не было, но... как бы это объяснить? Словно исчезли стены. Они, конечно, были на месте, и все было на месте. Но стало все ненастоящим, непрочным, как воздух. А настоящим было ощущение громадного пространства. Словно мы в ночной степи или на плоском пустом берегу под темным небом. И шум... То ли чей-то шепот, то ли осторожные волны лижут шершавый песок...

Я прикрыл глаза и прислушался. Каждым кончиком нервов, каждой клеточкой тела прислушался: что это? откуда?

Нет, было не страшно. Не грозило это ни бедой, ни опасностью. Просто незнакомое загадочное пространство подошло вплотную и словно легким темным крылом коснулось лица.

Но если за окном поздний вечер, и ты один в комнате, и тебе одиннадцать лет... Конечно, станет жутковато.

— Наверно, это ветер,— сказал я.— Ну что ты, Володька. Это ветер и дождь. Такой уютный вечер...

Он покачал головой и прыгнул с моего колена.

— Это не ветер. Это было еще днем... Может быть, это... она?

Оглядываясь на меня, он подошел к столу и отодвинул пачку новых учебников для пятого класса. За книгами лежала морская раковина.

Большая была раковина и некрасивая снаружи: серая, бугристая, с длинными шипами. Свернутая в спираль со множеством витков. А внутри она была темно-розовая и казалась очень глубокой. В самой глубине ее притаилась синеватая темнота.

— Откуда это?

— Я маму проводил, пришел домой и увидел... Она лежала на подоконнике. Я думал сперва, что это мама мне ее оставила. Ну, в подарок, чтобы не скучал...

— Может быть, так и есть?

Володька с беспокойством посмотрел на меня и сказал:

— Ты ее послушай. Приложи к уху.

Я поднял раковину — тяжелую, колючую — и поднес к щеке. И сразу накати ритмичный гул. Океанские валы ровно шли на пологий песчаный берег. Еще немного — и брызги, прилетевшие с гребней волн, осядут у меня на лице. Я прикрыл глаза. Ощущение близкого моря стало полным... И вдруг мне показалось, что Володька сказал какие-то слова. Я взглянул на него, не опуская раковину. Нет, Володька молчал, только смотрел на меня неотрывно и тревожно. А слова прозвучали опять. Они проступали сквозь шум океанского наката. И еще, еще... Сначала я просто почувствовал, что это человеческие слова. Потом понял, о чем они. И сразу же узнал голос.

Он звучал, как магнитофонная лента, склеенная в кольцо.

«Приходи, как раньше... Приходи, как раньше... Приходи, как раньше...» — звал из чужого мира мой далекий друг — трубач, командир и рыцарь Валерка...

Видимо, я очень долго слушал, и в тревожных Володькиных глазах появилось нетерпение. Тогда я опустил раковину.

— Володька, ты слышал в ней слова?

Он растерянно мигнул.

— Я думал, что показалось... Разве так бывает?

— Бывает,— сказал я.

У меня появилось странное ощущение. Была уверенность, что скоро случится что-то необычное, но не чувствовалось волнения. Наоборот, пришло спокойствие и даже какая-то сонливость. Я сел на стул перед Володькой, улыбнулся ему и сказал:

— Это не для тебя раковина... Просто они не знали, что мы поменялись комнатами.

— Кто? — спросил Володька и придвинулся вплотную.

— Помнишь, я рассказывал? Про город, про барабанщиков, про Канцлера? Про Валерку и Братика... Ты, Володька, решил, что это совсем сказка?

Он взял раковину и прижал к уху. Потом прошептал:

— Зовет...

Я кивнул.

Володька требовательно смотрел на меня.

— А как туда попасть?

Я пожал плечами.

— Понимаешь, Володька, раньше он сам приходил за мной...

— Разве ты не знаешь дорогу?

«Дорогу... — подумал я. — Это не дорэга. Это способ перехода в непонятный мир: то ли в сказку, то ли в другую галактику. Наверно, есть какие-то хитрые законы, только я их не изучал. До того ли мне там было?»

— Не знаю,— сказал я.— Сейчас не знаю...

— Но ты должен знать!

— Каждый раз — новый способ. Наверно, должно быть какое-то место. Особое...

— Место? — переспросил Володька.

— Да. Откуда можно уйти к ним...

— Место... — повторил Володька. Сел опять ко мне на колени, глянул снизу вверх. — Только ты не смейся и не спорь... У меня уже было, как сегодня с этой раковинкой. Ну, не так, а похоже. У дедушки на даче...

Я слегка удивился. Дача Володькиного деда находилась далеко за городом, а дед отдыхал в Сочи.

— Было,— повторил Володька.— Когда мы там в июне жили... Знаешь, там такая улица есть, и мне иногда казалось, что в конце ее море... На самом деле ничего нет. Ну, кусты да трава. А идешь, и все кажется, что вот-вот море будет. Даже запах как от водорослей. А если глаза закроешь, то совсем будто на берегу. И шум...

— А ты доходил до конца улицы?

Володька сердито мотнул головой:

— Не доходил.

— А почему? Боялся?

— Да нет... Ну да, боялся. Что обманусь...

— Ну что ж... Может быть, это то, что нужно, Володька.

Он вскочил:

— Так едем!

— Прямо сейчас?

Володька очень удивился:

— А разве можно ждать?

Я встряхнулся. В самом деле, что со мной? Что за сонная одурь? Или правда, старею и глупею понемногу? Может быть, там дорогá каждая секунда, а мы рассуждаем!

— Одевайся,— велел я Володьке, а сам спустился к себе. Надел сапоги, взял брезентовый плащ. Положил в карман тяжелый охотничий нож — подарок приятеля, с которым был в походе по Кавказу. Может быть, я не пригодится, а может быть... При этой мысли у меня слегка заболел шрам на левом боку и кольнула тревога за Володьку. Но было ясно, что уговаривать его остаться бесполезно. К тому же я не знал дороги...

Володька ждал меня. Вместо раскисших на дожде сандалий он натянул старенькие, но надежные кеды, а на майку надел оранжевую курточку-штормовку с капюшном. Он стал в ней похож на яркого тонконогого гномика, который из таинственной пещеры несет кому-то в подарок волшебную раковину.

Штормовочка была так себе, из легкой материи. «Продрогнешь, глупый», — хотел сказать я. Но Володька глянул с такой суровой нетерпеливостью, что я промолчал.

3

Как добрались до вокзала, я совершенно не помню. Мы словно сразу оказались в вагоне электрички. Он был пуст. Ярко горели лампы. У Володьки на щеках блестели дождевики, а штормовка была усыпана темными звездочками — следами капель.

Мы сели друг против друга на желтые лаковые скамейки. Поезд будто нас одних и ждал: мягко толкнулся и набрал скорость. Сразу прижалась к стеклам густая, как смола, чернота.

Володька сидел прямой и даже строгий какой-то. Положил раковину на блестящие от дождя коленки, смотрел перед собой и шевелил губами — словно повторял тихонько важный урок.

— Володька,— окликнул я.— Долго ехать? Он вздрогнул.

— Что?.. Нет, не очень.— Приложил раковину к уху и улыбнулся: — Говорит. Будто даже громче.

Я тоже послушал. Может быть, не громче, но неутомимо и настойчиво звучал Валеркин голос... Мы и правда ехали недолго. Даже темные

звездочки на Володькиной куртке не успели исчезнуть. Не знаю, что Володька сумел различить в темноте за окнами, но вдруг вскочил и потянул меня за рукав. Едва мы вышли в тамбур, как зашипели тормоза и разошлись двери. Мы прыгнули на мокрые доски платформы. В них отсвечивал станционный фонарь. Поезд опять зашипел и умчался, а мы по скользким ступенькам спустились на размыкшую траву.

— Здесь тропинка,— шепотом сказал Володька и повел меня мимо темных плетней и сараев. По-прежнему сеял дождик.

— Вот здесь дедушкина дача. Видишь?

Ничего я не видел. Кругом ни огонька, даже станционный фонарь затерялся во мгле. Я уже хотел сообщить своему спутнику, что глаза у меня не кошачьи, но он вдруг виновато попросил:

— Слушай, возьми меня на руки, пожалуйста. Тут шиповник.

Я сразу подхватил его, но для порядка проворчал:

— Нежности какие. Давно ты стал бояться колючек?

— Но это ведь железный шиповник... Ты осторожнее, он и сапоги может изорвать.

Я никогда о железном шиповнике не слышал, поэтому только хмыкнул. Потом спросил:

— Если он такой вредный, почему вы с дедом его не выкорчевали?

— Как его выкорчуеть? — удивленно сказал Володька.— Я же говорю: железный шиповник. У него корни до центра Земли.

— Вечно ты выдумываешь...

— Ничего не выдумываю,— рассеянно откликнулся Володька.— Это правда... Ты иди теперь прямо, здесь короткая дорога.

Я продрался сквозь кусты и вынес Володьку на широкую улицу дачного поселка.

Тишина стояла невероятная. Даже дождик закончился и не шуршал в траве. Ни одно окошко не светилось. Однако полной темноты уже не было: в небе стали видны облака, словно отразившие далекий рассеянный свет.

Володька нетерпеливо шевельнулся, и я опустил его на дорогу. Он ойкнул. Оказалось, уронил на ногу раковину. Я поднял ее и больше не дал Володьке: разобьет еще или сам поранится.

— Куда же теперь пойдём? — спросил я.

Володька уверенно махнул рукой вдоль домов. Я взял его за плечо, и мы зашагали по середине дороги.

Стало еще светлее: облака проступили ярче, и в воздухе как бы повисла серебристая пыль. Мы молчали и думали, наверно, об одном и том же: чем кончится наше путешествие? Говорить об этом я не решался, и Володька, видимо, тоже. Мы оба, наверно, боялись спугнуть сказку. А молчать стало трудно. И я просто так, лишь бы сказать что-нибудь, полупшепотом произнес:

— Какие-то странные облака. Светятся...

Володька подумал и тихонько ответил:

— Наверно, в них распыляется звездный свет.

— Такой сильный?

— А что? За облаками звезды светят очень ярко. Просто мы не видим...— Он помолчал и вдруг спросил:— А почему они горят?

— Звезды?

— Ну да. Огонь горит, если воздух кругом, а там ведь безвоздушное пространство...

— Ученые говорят, что в них атомные процессы идут. А в общем, до конца это еще не изучено...

— И главное, вечно горят...

— Не совсем вечно. У звезд тоже бывает рождение и конец.

— Ну, все равно. Миллиарды лет...

— С чего это ты о звездах задумался, Володька?

Он серьезно сказал:

— А что? Я о них часто думаю... Вот смотри: если бы не было звезд, не было бы планет. Значит, не было бы людей. Вообще ничего хорошего не было бы... И мы с тобой никогда бы не подружились...

«А ведь в самом деле...» — подумал я и крепче взялся за Володькино плечо...

Шли мы уже минут пятнадцать, а улица все тянулась. «Удивительно,— думал я.— Это же поселок, а не город...» Незаметно сделалось теплее. Володька откинул капюшон.

Улица стала узкой, дома вплотную подступили к дороге. В мерцающем полусвете облаков я разглядел, что это необычные дома. Точнее, это были два очень длинных дома — справа и слева. Они и составляли улицу. С правой стороны тускло поблескивал бесконечный ряд полукруглых окон, с левой тянулась перед домом длинная терраса, или галерея, — столбы с навесами.

Мы подошли совсем близко, и я увидел, что столбы покрыты резьбой: их оплетали деревянные листья и цветы. А вверху, на карнизе, я смутно различил какие-то смеющиеся маски.

— Что это за дома, Володька?

— Не знаю, — шепотом сказал он. — Я их раньше не видел.

Даже в полумраке я различил, какие опять встревоженные сделались у него глаза.

Ощутимой волной прошел вдоль домов теплый воздух, и я уловил в нем запах травы. Той серебристой травы, что росла у стен Валеркиного Города.

— Что? — поспешно прошептал Володька. — Это... уже? Это правда?

Я сжал ему руку и повел мимо резных столбов. Я не знал еще точно, где мы, но от волнения перехватило горло.

Так шли мы полминуты. Улица оборвалась наконец, и в этот же миг из-за просветлевшей

кромки облака выглянул краешек луны. Я остановился и радостно прижал к себе Володьку. Луна могла светить только там. У Валерки. У нас было новолуние.

Яркий круг выкатился из-за облака целиком, и словно включили голубой прожектор.

— Ой! Ура... — с тихим восторгом сказал Володька. — Смотри.

Я смотрел. Но глаза не сразу привыкли к странному серебристо-голубому миру.

Слева на холме, в километре от нас, я разглядел белые домики. А справа и впереди, занимая половину пространства, стояла туманная мерцающая стена. И неясно было: вблизи она или очень-очень далеко. Только то, что находилось совсем рядом, я видел отчетливо: кусты и нагромождение камней.

Не знаю, что меня толкнуло, но я моментально решил забраться на камни и осмотреться. Держа в руках раковину, я по гранитным уступам взбежал наверх и тут услышал Володькин крик:

— А я?! Подожди, я с тобой!

Чтобы успокоить его, я обернулся. Из-под ноги выскользнул камень. Я шагнул в сторону, однако нога не нашла опоры. Качнувшись, я замахал руками... и ухнул в пустоту.

4

У меня есть приятели-альпинисты, кое-чему я у них научился. Извернувшись, я ухватился за каменный карниз. Раковина, конечно, улетела, но мне было не до нее. Острый толчок опасности как бы встряхнул меня, и я сразу все понял. Понял, что туманная стена с лунными искрами — это океан и что я повис на краю обрывистого берега — видимо, очень высокого. И если разожму пальцы, грохнусь об утесы или окажусь под водой (а какой из меня пловец в сапогах и плаще?).

— Володька! — сдавленно крикнул я. Но, услышав, как из-под ног у него посыпались камешки, испугался: — Не подходи, сорвешься!

Это было глупо. Кто, кроме него, мог помочь?

Ну, а он? Разве он вытащит? Я висел на закаменевших пальцах и чувствовал, какое нескладное и тяжелое у меня тело.

Что внизу, я не видел. Видел только перед носом темный камень. Ноги болтались и не находили, за что уцепиться.

— Сейчас! — крикнул Володька. — Не бойся!

Я отчаянно попытался подтянуться, но пальцы едва не сорвались. Я поднял лицо, но увидел над собой лишь каменный козырек.

— Тихо ты, — почти со слезами сказал Володька. — На, держи.

По пальцам левой руки, по кисти скользнула и закачалась у щеки знакомая веревочка. С узелками и петлей на конце. Умница Володька!

Я верил, что капроновый шнурок выдержит меня. Ухвачусь, раскачаюсь, заброшу на карниз локоть и ногу. Володька вцепится в плащ, поможет выбрать... Только удержи ли я в ладонях тонкую скользкую веревочку?

Из последних сил я вцепился в камень правой рукой, а левую освободил на миг, сунул в страховочную петлю и сжал узелки. Но правая рука подвела: пальцы сорвались. От рывка узелки выскочили из ладони, тонкая петля затянула кисть, и я повис, вращаясь на шнуре.

Режущая боль была такой бешеной, что я ничего не увидел, хотя сделал на веревке полный оборот.

Я застонал и схватился правой рукой за шнур, повыше петли. Он был совсем тоненький и гладкий, не удержать. А до узелков теперь не дотянуться. Боль от кисти уже подкатила к плечу, и я боялся, что потеряю сознание.

«Не смей», — сказал я и широко открыл глаза. Я опять висел лицом к обрыву, но ниже, чем раньше: веревка опустилась приблизительно на метр. Зато недалеко был выступ: если раскачаться, можно встать на него и ухватиться за гранитный гребешок. Лишь бы выдержать!

— Володька! — со стоном крикнул я. — Ты хорошо привязал?

И услышал глухой, хриплый какой-то ответ: — Я не успел... Я держу.

На миг я забыл даже про боль. Ужас бывает сильнее боли.

— Отпусти! — приказал я.

Мне вовсе не хотелось в герои, и я не мечтал о подвиге. Я даже успел всей душой надеяться, что, может быть, падая, зацеплюсь за какой-нибудь выступ. Или свалюсь в воду и все-таки выберусь. А Володьке не выбраться. Он-то уж точно грохнется насмерть, если сорвется.

— Отпусти сейчас же!

— Не отпущу... Выбирайся...

— Брось, ты не удержишь!

— Удержу. Я ногами зацепился. — Он говорил глухо и с трудом.

Какие же отчаянные силы появились у него, если своими тощими ручонками он удерживал меня — взрослого тяжелого дядьку!

Я представил, как тугие капроновые пряди врезаются в Володькины ладошки, и закричал изо всей мочи:

— Брось веревку!!

— Не брошу, — сказал он и, кажется, заплакал.

Тогда я от страха за него и за себя, от боли и отчаянья начал орать на Володьку. Орал и висел неподвижно, потому что чувствовал: если чуть качнусь — Володька сорвется с каменной площадки. Потом замолчал. Вспомнил про нож.

Опять я повис на левой руке (она уже онемела в петле), сунул правую ладонь в карман, ухватил рукоятку. Все напряглось во мне от предчувствия жуткого падения. Но я же не погибну, нет! Рывком я сбросил с клинка ножны и тяжелым отточенным лезвием рубанул натянутый шнур...

Я им гвозди рубил когда-то, этим ножом. Но от Володькиной веревочки клинок отлетел, как от стального троса. Упругая отдача вырвала нож из ладони.

Несмотря на все отчаянье и страх, я так изумился, что повис, как мешок. Нож тихо звякнул о камень где-то далеко внизу. Это привело меня в чувство. Я опять хотел заорать на Володьку, но почувствовал, что меня поднимают. Перед глазами появился край обрыва, потом чьи-то пальцы яростно вонзились в мой плащ и потянули вверх. Я уцепился за карниз локтем, лег грудью, забросил колено. Перевалился через левое плечо на спину и от последнего толчка боли закрыл глаза.

Видимо, с полминуты я все же был без сознания. По крайней мере, не помню, как снимали у меня с запястья петлю. Я ощутил прикосновение прохладной мякоти к содранной коже. Эта прохлада всосала в себя и растворила боль. Только щекочущие мурашки бегали по левой руке, словно я ее отлежал.

Я открыл глаза и увидел Володек. Двух Володек. Они стояли надо мной рядышком. Один Володька был в своей штормовке, а другой — в светлой шелковистой рубашонке, подпоясанной тонким блестящим ремешком.

— Ну, ты чего? — жалобно сказал Володька в штормовке. — Ты живой?

А Володька в рубашке сел на корточки и поправил на моей руке накладку из влажных листьев. Под луной вспыхнули его светлые волосы. И хотя лицо осталось в тени, я все равно узнал. Сразу же. Он засмутился и спросил:

— Ну, как ваша рука? Не сильно болит?

— Василек! — сказал я почти с испугом. — Ты что? Ты почему говоришь мне «вы»?

Он улыбнулся знакомой своей улыбкой: нерешительной, но очень славной.

— Ну... ты такой большой теперь...

В самом деле! Он же никогда раньше не видел меня большим. Валерка видел, а Братик — ни разу. Я всегда приходил к нему мальчишкой. Двенадцатилетним пацаном с выгоревшими волосами и засохшими ссадинами на острых локтях...

— Ну и что же, что большой! Какая разница, Василек!

— Все равно глупый, — негромко добавил Володька.

Я не рассердился. Мне стало вдруг очень

стыдно, что я, такой здоровенный, раскис и валяюсь перед ребятами. Я вскочил. Боль опять прошла руку, но я сдержался.

— Не скажи, снова загремишь,— хмуро предупредил Володька.— Лучше погляди, куда ты собирался лететь.

Далеко внизу штурмовали берег длинные водяные валы, и между утесами вырастали белые деревья: это вставляли громадные столбы брызг. Только сейчас я понял, что в воздухе висит шум прибоя. Он был такой ровный, что казался частью тишины.

От края обрыва до прибоя было не меньше сотни метров.

— Ну что? — сумрачно сказал Володька.

— Как ты меня удержал? — тихо спросил я.

Володька шевельнул плечом. Потом объяснил:

— Вон видишь камень? Я на нем лежал на спине. А ноги согнул и цеплялся за край...

Значит, он лежал навзничь, на этой квадратной глыбе. Острая каменная грань врезалась ему под колени, а веревка, намотанная на руки, срывала с ладоней кожу...

— Хорошо, что он подоспел,— шепотом сказал Володька и кивнул на Братика.— Сразу как вцепится тебе в воротник...

Два таких малька — и вытянули меня.

— Покажи руки, Володька.

Он ворчливо объяснил:

— Видишь, я штаны держу. Если отпущу, свалятся.

Он и правда еще не успел подпоясаться веревочкой.

— Никуда штаны не денутся. Покажи ладони.

Володька вздохнул, надул живот, чтобы штаны и вправду не съехали, и протянул руки. На ладонях были темные полосы. Но не такие страшные, как я ожидал.

Подошел Братик и застенчиво объяснил:

— Мы сразу листья приложили. Это черепашья трава, ее здесь много. Она тут же залечивает.

Это я и сам чувствовал: боль в руке опять утихла.

Володька подобрал с камней свою веревочку.

— Хорошая ты моя. Надеженькая... А этот вредный дядька тебя ножом. Тоже мне, Смок Беллью... (Недавно Володька прочитал у меня почти всего Джека Лондона.)

— Откуда ты знаешь про нож? Ты же не видел.

— «Откуда»... Догадался. Мало ли чего я не видел? Зато слышал много... Как ты там висишь и ругаешься.

— Прости, малыш,— сказал я.

— Ладно уж,— снисходительно буркнул Володька и запоздало огрызнулся: — Сам малыш!

Братик засмеялся. Тогда засмеялся и Володька, и они посмотрели друг на друга.

А я обрадовался и рассердился. Рассердился на себя — за то, что до сих пор как бы в плену у жуткого случая. Все кончилось хорошо, сколько же еще вздрагивать? А обрадовался потому, что наконец понял: вот же он Братик! Самый настоящий!

Теперь самое время начаться главным событиям. Не зря же Валерка послал нам раковину! Не для того же мы с Володькой пришли сюда, чтобы я поболтался на веревочке!

Было уже две сказки: одна печальная и ласковая, другая — жестокая, но с хорошим концом. Должна быть и третья. Неизвестно какая, но должна.

...А Володька и Василек все смотрели друг на друга, словно шел между ними молчаливый разговор.

— Вы хоть познакомьтесь,— сказал я.

Володька небрежно глянул на меня.

— А чего нам знакомиться? Мы и так знаем...

Он взял Братика за руку, и мы стали спускаться с камней.

На ходу Володька негромко сказал Братику:

— Он про тебя много рассказывал... Тебя Васильком зовут? А можно Васькой?

Я поморщился. Но Братик сказал весело и просто:

— Можно, конечно.

Мы пошли по тропе среди травы. Я шагал сзади и видел только ребячьи затылки, освещенные луной. Оба лохматые и порядком заросшие. Темно-русый Володькин и совсем светлый Василька. Но я представлял, какие у Володьки и Братика сейчас лица. Володька пытается скрыть стеснительность за беззаботной улыбкой, а Василек поглядывает на него смущенно сбоку — кажется, хочет что-то сказать.

Наконец, он проговорил вполголоса:

— Я про тебя тоже слышал...

— Он рассказывал? — торопливо спросил Володька.

— Он тебя во сне звал... В тот раз, после боя...

Володька перестал улыбаться.

— Я тогда и понял,— сказал Братик.

— Что?

— Ну... какой ты.

Володька помолчал и скованно спросил:

— Какой?

— Ну, такой... — Братик опять засмутился и не сразу нашел ответ. Потом серьезно сказал: — Как твоя веревочка...

Володька сбил шаг, и у них с Васильком дрогнули сомкнутые руки. Но не разорвались, а сцепились крепче — ладонь в ладони.

Мне стало даже капельку обидно, что они идут рядом, а я один остался. Но в этот же миг Братик и Володька обернулись.

— Догоняй,— сказал Братик.— Ты не устал?

А Володька сурово заметил:

— Надо вместе ходить, а то опять куда-нибудь свалишься... Беда с этими взрослыми: ноги длинные, а толку никакого.

Я обрадованно догнал их, и они ухватили меня за руки с двух сторон. И пошли, крепко прижавшись ко мне. Может быть, потому, что тропа была неширокая, а по краям стояли высокие стебли с жесткими зубчатыми листьями.

— Василек, а что случилось? — спросил я. — Вы позвали...

— Ничего не случилось, — беззаботно сказал он. — Ну, ничего такого... Скоро дальнейшее плавание, на целый год. Брат хотел повидаться перед уходом.

— А как вы послали раковину? — вмешался Володька.

Все так же беззаботно Братик объяснил:

— Их посылают по солнечным лучам, когда полуденный ветер... Брат знает, он эти хитрости изучал, а я пока не разбираюсь.

— Мы к нему идем? — спросил я.

— К нему.

5

Скоро мы вошли в поселок. Белые домики с полукруглыми окнами и множеством деревянных лестниц в беспорядке толпились на склоне холма. Склон опускался к морю. По берегу шла высокая набережная. Она была выложена бугристыми плитами. Вдоль набережной стояли шесты, и между ними тянулись развешанные сети. На сетях, как выловленные в море серебряные монетки, сверкали крупные рыбы чешуйки.

В лицо нам дул теплый ветерок, сети медленно качались. Пахло бочками из-под рыбы, сладковатой травой и морской солью.

Володька вертел головой, и глаза у него блеснули.

Изредка попадались навстречу мужчины в кожаных шляпах и полосатых фуфайках. Без удивления провожали нас взглядами.

Море шумело, и брызги иногда перелетали через парашют набережной.

У самого моря, за парашютом, поднимался еще один дом, не похожий на другие. Он был темный, с тремя рядами узких решетчатых окон, с тяжелыми звериными фигурами и узорчатыми фонарями на выпуклом фасаде. И я вдруг сообразил, что это высокая корма парусного корабля.

Мы подошли ближе. Округлый борт с баллюстрадой навис над нами. На плиты набережной был спущен гибкий трап.

По трапу сбежал к нам Валерка.

Он без улыбки взял мои ладони и сказал:

— Здравствуй.

И Володьке сказал «здравствуй». Как давно знакомому, Володька смущенно засопел.

Валерка выглядел старше, чем в прошлый раз. Было ему на вид лет пятнадцать. Над губой темнели волоски, лицо стало худым и казалось очень смуглым. Он был в узкой черной форме. На плечах и рукавах его короткой куртки неярко блестело серебряное шитье. На боку висел тонкий палаш в черных ножнах.

— Он капитан? — шепотом спросил Володька у Братика.

Валерка услышал и улыбнулся:

— Штурман...

Мы поднялись по трапу, и несколько личностей пиратского вида почтительно расступились перед нами. Валерка привел нас в просторную каюту. Мягким, но сильным светом горела круглая лампа, подвешенная к выгнутой балке потолка. На широком столе были раскрыты карты. На картах спал большущий рыжий кот.

— У, какой! Больше Митьки, — с завистью сказал Володька.

— Это Рыжик наш, — сказал Братик.

Он потянул Володьку на обтянутую кожей койку, а мы с Валеркой сели у стола.

Была в нас какая-то скованность.

— Ты не сердись, — проговорил Валерка. — Я не встретил... Третий день погрузка, а сегодня еще подвязывали паруса.

Братик встрепенулся:

— Уже сделали? Мы пойдем, я покажу Володьке корабль!

Они вмиг исчезли из каюты. Я с тревогой посмотрел вслед.

— Да ничего, — успокоил Валерка. — Там кругом матросы...

— Значит, отстроили все же корабли, — сказал я.

— Да. Это сумели...

— И теперь в плавание? Далеко?

— Далеко... Почти наугад. Говорят, на юге есть большой материк. А что там, никто не знает. Может быть, на нем целые страны, и люди лучше нас живут. И умнее... Ты ведь знаешь, как мы жили: все на свете провоевали. Что помнили — забыли, что умели — разучились. Теперь открываем планету заново.

— Но главное, что плывете. Ты штурман теперь... А Братик?

Валерка вздохнул и прикусил нижнюю губу. Посмотрел на меня жалобно, как маленький.

— Ему нельзя плыть.

— Опасно?

— Не то что опасно. Смертельно.

Я, не понимая, молчал.

— Мы пойдем через полуденную черту, — сказал Валерка. — Там бешеное солнце, стальные лучи. Взрослые могут вытерпеть, а такие, как Василек... Понимаешь, у них не выдерживает кровь. Становится желтой, как лимонный сок, жидкой делается. Из любой царапинки бежит без остановки. Даже старые шрамы будто тают



и начинают кровоточить. А ты ведь помнишь, у него на плече...

Еще бы не помнить! Этот жуткий треугольный глазок от рапиры гвардейца...

— Как же Братик будет без тебя? — спросил я.

— Вот так и будет, — печально сказал Валерка. — Поживет с Рыжиком у рыбаков.

Легко сказать «поживет у рыбаков». Это Василек-то, у которого старший брат — единственный свет в окошке!

Но тут я вспомнил, какой Братик сегодня. Он вовсе не казался печальным. Смеялся, прыгал. Я удивленно посмотрел на Валерку, и он понял. Он сказал:

— Все уже было. Сколько слез пролилось... Но мы собираемся давно, и он привык к мысли, что мне придется уплыть. И он твердый все-таки... А сегодня еще вы пришли, вот он и радуется.

— Мы будем его навещать. Ведь это можно, да?

У Валерки нервно дрогнули брови. Он собрался что-то ответить. Но в это время завизжала дверь, и в проеме показалась могучая фигура — в кожаных штанах, сапогах, в клетчатой рубаше и драной шляпе, из-под которой торчали концы пестрой косынки. Этакая глыба с лицом, заросшим рыжей шерстью.

Глыба стащила шляпу и сквозь косынку поскребла скрюченным пальцем затылок. И заговорила почтительно приглушенным басом.

— Прошу прощения у светлого штурмана Иту Лариу Дэна, только матросы в полном недоумении. Капитан велел грузить сначала волокно, а сверху бочки с солониной.

— Ну и делайте, как велел капитан, — нетерпеливо откликнулся Валерка. — Ему лучше знать.

— Оно вроде бы справедливо, — прогудел рыжий великан. — Только осмелюсь заметить светлomu штурману, что бочки тяжелые. Их если погрузить высоко, на волне появится лишняя раскачка. Вам трудно будет инструментами звезды ловить.

Валерка улыбнулся:

— Ладно, поймаю...

— Опять же при такой погрузке запасные цепи придется укладывать под палубой у бизани. А там рядом компас...

— О черт! — сказал Валерка и встал. — Извини, я сейчас.

Он выскочил из каюты, зацепив рукояткой палаша косяк. А я подумал, что мне трудно будет называть его Валеркой. Теперь это светлый штурман Иту Лариу Дэна, знающий тайны звезд и моря. И, видимо, имеющий власть на корабле не меньше власти капитана.

Вернулся он через две минуты. Виновато проговорил:

— Капитан очень хороший человек, но в ком-

пасах и картах — во... — Он постучал ногтем по большому глобусу с очертаниями незнакомых земель. Спящий Рыжик недовольно дернул хвостом.

Я опять хотел спросить, можно ли будет вещать Братика. И снова появилась в двери голова в косынке на рыжих космах.

— Осмелюсь еще раз побеспокоить светлого штурмана и его гостя. Ваш юный брат и его друг носятся по вантам и между мачтами, как летучие обезьяны. Смотреть, конечно, полная радость, только один раз они уже скатились в рыбный трюм.

Тут уж вскочили мы оба. Но «летучие обезьяны» сами влетели в каюту. Они бухнулись на кожаную лежанку, задрав ноги, облепленные рыбой чешуей. Я заметил, что Володька подпоясан блестящим ремешком, а рубашка Василька заправлена в коротенькие штаны, из кармана которых торчит белая веревочка.

Светлый штурман Иту Лариу Дэн принял решительный вид. Он заговорил с Братиком суровым тоном, в котором я уловил, однако, беспомощную нотку:

— Сколько раз я втолковывал: не смей носиться по мачтам!

— Мы больше не будем, — кротко сказал Братик. Покосился на Володьку, и оба фыркнули.

— Достукаешься, что выставлю с судна, — пригрозил штурман.

Братик лукаво заметил:

— Ты же над парусами не начальник. Ты над приборами начальник, а над парусами боцман Вига Астик. Он разрешает.

— Выставлю с боцманом, — пообещал Валерка. Сжал губы, чтобы не засмеяться, и отвернулся, изобразив спиной возмущение. Негромко, но чтобы слышал строптивый брат, сказал мне:

— До того вредный стал. Никакого сладу...

Я выразительно посмотрел на своего Володьку и сообщил, что у этих двух пиратов начинается, видимо, знаменитый переходный возраст.

— Слушай, штурман, ваши ученые пишут про переходный возраст в своих мудрых книгах? Что при этом надо делать?

— Пишут, конечно, — охотно откликнулся Валерка. — За уши драть надо, чего же еще.

— И здесь не без дураков, — заметил Володька.

Они с Братиком поднялись и на цыпочках двинулись к двери.

— Куда?! — рявкнул я.

Володька обернулся.

— Мы не будем скакать. Мы посмотрим, как протягивают штуртрос.

Штурман Дэн махнул рукой. Братик и Володька дурашливо изобразили пай-мальчиков и удалились.

— Спелись голубчики, — сказал я с улыбкой. И увидел Валеркино лицо. Мне даже страшно-

вато стало — такая безнадежность была в этом лице.

— Плохо, наверное, что спелись.

— Что случилось, Валерка?

— Видишь, они полюбили друг друга. А сегодня расстанутся. Василек еще не знает...

— Но ведь...

Он покачал головой.

— Думаешь, я из-за плаванья позвал тебя? Плаванье — что... Уплыл и вернулся... Дело не в этом. Планеты расходятся. Нам больше не увидаться, Сережа...

6

Планеты расходятся...

Мы стояли на высокой кормовой палубе, у планшира, и над нами качались громадные деревянные блоки. Над близким волноломом гавани вставали под лунной белой языки пены, а в бухточке, где стоял корабль, было тихо. У борта слегка плескалась рябь, да шипел в тросах ровный ветерок.

Внизу, на средней палубе, Братик и Володька натянули между мачтами веревочку и учили ходить по ней Рыжика. Любопытно, что Рыжик слушался. Матросы толпились вокруг и сдержанно посмеивались в волосатые кулаки.

Но все это я замечал машинально, а думал о другом, о печальном. Планеты расходятся. Какая-то космическая сила разрывает наши пространства. А меня и Володьку уносит от Валерки и Братика. Навсегда...

— А может быть, не навсегда?

Штурман Дэн покачал головой. Он знал о неизбежности движения перепутанных галактических миров и не мог ошибиться.

Он сказал:

— Ты и сам, наверно, заметил: переход делался труднее.

— Не заметил я. Шли и шли. Сперва дождик, потом луна...

Валерка грустно улыбнулся:

— Шли и шли... Это в протяженности. А во времени? Ты же не стал, как в тот раз, мальчиком.

Да, он прав. А я как-то не подумал об этом. Наверно, потому, что рядом со своим Володькой привык быть большим. А может быть, случай на обрыве выбил меня из колеи...

Я спросил:

— Нельзя было уже сделать, чтобы я стал... ну, как вы?

— Можно, только очень тяжело. Надо строить лабиринт. Я этого никогда не делал.

Мы помолчали.

— Когда уплываете? — спросил я.

— На рассвете... А вам надо уйти раньше, пока луна...

Я подумал, каким тягостным будет прощанье. И Валерка меня понял. Он проговорил:

— Даже не знаю, как сказать Васильку.

— Может быть, пока не говорить?

— Нельзя обманывать,— хмуро откликнулся Валерка.

Я услышал позади мягкий толчок и оглянулся. Это упал на четыре лапы Рыжик, которого выпустил из рук не то Братик, не то Володька.

Они стояли рядом и одинаково смотрели на нас отчаянными глазами. Они так сцепились руками, словно уже сию секунду их могли оторвать друг от друга. Я понял, что говорить ничего не надо. Но Валерка не выдержал. Глянул на Володьку, на меня и умоляюще сказал:

— А может, останетесь?

Я на миг забыл про все на свете и снова почувствовал себя мальчишкой. Я качнулся Валерке навстречу. Ведь это же так просто: остаться.

И тут же услышал удивленный Володькин голос:

— А как же мама?

Да. Как быть с теми, кого любишь? И Володькина мама, и Варя, и тот малыш, который должен у нас родиться. Это обязательно будет сын, и мы назовем его Валеркой. Как быть со сказкой, которую я написал для театра и которую ребята не увидят, если я не вернусь? Как бросить все, к чему привязан с детства? Всю планету с ее горечью и радостью, жестокостью и лаской? С нашей травой и нашим солнцем?

Валерка опустил глаза.

— Простите, ребята,— сказал он.

Молчаливым и печальным оказался наш обратный путь. Если люди расстаются на время, они дают друг другу наставленья, мечтают о будущей встрече, а о чем было нам говорить? О том, что никогда не забудем друг друга? Это ясно и так.

Валерка и Братик проводили нас очень далеко. Уже кончились длинные дома, и затерялся в тучах лунный свет. И опять начал сеять дождик. Братик зябко передернул плечами, и Валерка торопливо накинул на него свою расшитую куртку.

Наконец мы остановились у зарослей железного шиповника, недалеко от дачи Володькиного деда. Встали тесным кружком. Было темно.

— Пора нам...— сказал Валерка.

Я молча сжал в темноте его узкую ладонь.

— Не потеряй... ремешок,— тихо и сбивчиво сказал Братик Володьке.

— Не потеряю. А ты веревочку... не потеряй.

— Ни за что,— прошептал Братик. Он прижимался ко мне плечом, и я почувствовал, как плечо задрожало.

Я ни разу не видел, как плачет Братик. И сейчас не видел из-за темноты. Но я понял.

Жалость, тоска и злость смешались и подкапали к горлу. Потому что все было дико и несправедливо!

— Валерка...— сказал я.— Ребята... Подождите. Ну, нельзя же так! Должно случиться что-то хорошее, раз мы встретились!

Володька и Братик замерли с напряженностью взведенных курков. А Валерка тихо сказал:

— Придумай.

Мне даже насмешка почудилась. Но это не Валерка смеялся, а сама Третья Сказка. В ней был нарушен какой-то закон: в ней ничего не случилось, и она принесла только горечь расставания.

Что я мог придумать? Дважды я выручал друзей из беды, но тогда у меня было оружие, и я знал, с кем драться.

А может быть, дело не в этом? Тогда я был мальчишкой, а сейчас взрослый и, наверно, поэтому не могу отстоять наше мальчишечье счастье.

— Валерка! Ты же говорил, что можно. Трудно, а все-таки можно... Лабиринт.

Пускай ничего не случится. Пускай ничего я не придумаю. Но хоть на полчаса я опять стану таким же, как они. Еще раз вместе пробежимся по щекочущей высокой траве. Лишь бы не это прощанье под морозящим дождем.

Валерка выдернул из моей руки ладонь.

— Ты верно говоришь,— сказал он.— Что-то не так. Неправильно... Ладно, я попробую.

Он отошел, и с трех шагов от нас размытым пятном забелела его рубашка. По резкому шелесту я понял, что он выхватил из ножен палаш. Через несколько секунд на острие поднятого клинка зажегся зеленый огонек. При этом свете мне хорошо разглядели Валерку. Он стоял, вытянувшись, с направленным вперед палашом. Рука и клинок были одной прямой линией. Голову Валерка опустил и словно прислушивался.

Он был неподвижен сначала. Потом откинул назад левую руку и несколько раз стиснул и разжал пальцы. Будто искал, за что ухватиться. Я понял и подскочил. Валерка, не глядя, сцепился мне в левое запястье (боль опять прошла по руке). Пальцы у Валерки леденели. Мало того, я тоже начал весь холодеть. Казалось, тепло уходит из нас, как энергия из электрических батарей. Мне стало даже не по себе.

И вдруг все это кончилось. Погас зеленый огонек. Валерка разжал пальцы, расслабленно опустил палаш и долго не мог попасть клинком в ножны.

— Ну вот, все,— сказал он наконец, и я почувствовал в темноте его улыбку.

Перед нами в сумраке неясно обрисовались скалы, и в них абсолютной чернотой проступала узкая щель.

— Что ж, пойдём,— сказал Валерка.— Не от-

ставьте, а то можно заблудиться. Это же лабиринт...

— Слушай, штурман, а Володька наш не станет совсем младенцем, если я...

Валерка перебил с усмешкой:

— Не станет, если не захочет.

— А ты не опоздаешь на корабль?

— Нет,— со сдержанным торжеством в голосе откликнулся штурман Иту Лариу Дэн.— Теперь время нас подождет.

7

Даже не знаю, с чем это сравнить. Мы шли по траве, то по камням, но не могли разглядеть их, а только слышали шорох подошв и шелест стеблей. Я чувствовал, что рядом твердые высокие стены, но их тоже не видел, а видел зыбкий темный туман, в котором передвигались, мерцая, россыпи неярких звезд и даже целые спиральные галактики. Одна — косматая и плоская, размером с тарелку — медленно прошла у моего плеча назад. Я оглянулся и при убегающем свете разглядел Володьку и Братика. Они держались за руки. Лица у них были бледные и серьезные.

Валерка шел впереди. Он поглядывал вверх, где на извилистой полосе обычного земного неба светили несколько неизменных звезд. Мы часто сворачивали, и при каждом резком повороте из тумана выплывали разноцветные планеты, похожие на елочные шарики. Они проходили сквозь меня и Валерку, словно мы были из воздуха. Это похоже было на сон, когда ничто не удивляет и не страшно.

Потом снова стало темнее. Стены сделались непрозрачными. Валерка вдруг замедлил шаги, и я опять почувствовал его улыбку. Он спросил:

— Так сколько же тебе лет?

Я тоже улыбнулся и нетерпеливо сказал:

— Ты же знаешь: всегда двенадцать.

— Ну, смотри,— серьезно откликнулся Валерка, и голос его вдруг разнесся по галактикам.— Здесь такое место. Каким хочешь, таким и выйдешь. Хоть ребенком, хоть стариком... Хоть ангелом с крылышками, хоть рыцарем в латах. Задумай...

Не надо мне крыльев. И лат не надо! Пусть я стану снова обычным пацаном с заросшей тополями улицы Чехова, где когда-то жил с мамой и друзьями. Пусть, как в прошлый раз, будут на мне разношенные мягкие кеды тридцать шестого размера (на левом лопнул шнурок, и я заменил его проводком в красной изоляции). И мятые синие шорты с потертыми и побелевшими от стирки швами. И рубашка, которую неумело и заботливо зашил мне Братик после боя с Канцлером...

Или... не рубашка?

Все детство, лет с пяти и чуть ли не до пятнадцати, я мечтал о матроске. Такие форменки — маленькие, но настоящие — носили ребята из кружка судомоделистов в городском Доме пионеров. Но в кружок принимали тех, у кого не было троек.

Я мечтал о матроске отчаянно, до тоски. Больше, чем о велосипеде. По крайней мере, так мне вспоминалось сейчас. Потому что велосипед в конце концов купили, а морская форменка так и осталась несбывшейся сказкой.

Один раз мне чуть не повезло. На рынке-толкучке, где мы с мамой искали шланг для стиральной машины, хмурый тощий дядька продавал форменку. Мама посмотрела мне в глаза и пожалела меня, денег оказалось мало. Их не хватало столько, что не было смысла и торговаться. Наверно, я заревел бы. Но рядом крутилась веснушчатая девчонка со спокойной-насмешливыми желтыми глазами. Я ее немного знал, она недавно стала жить на нашей улице...

...Зеленоватая планета размером с яблоко неслышно прошла через толщу стен и повисла невдалеке от нас. У нее было кольцо, как у Сатурна. Планета быстро вертелась внутри кольца и разбрасывала отблески, похожие на светлых бабочек.

— Ух ты... — тихонько сказал сзади Володька.

Одна светлая бабочка теплым крылом задела мою ладонь. Я поднял к лицу руки — они стали тонкими и легкими. Я увидел синие обшлага с тремя полосками, белые рукава. На правом рукаве у локтя виднелась аккуратная штопка.

Значит, это было? Или не было...

Я же знал, что мы не купили матроску. И, несмотря на это, вспомнил сейчас, что все-таки купили. Да, упростили дядьку подождать и сходили за деньгами. Потом мама несла домой плоский газетный сверток, а я, радостный и благодарный, тащил скрипучую корзину с картошкой (мы зашли за ней в овощные ряды). Корзина безжалостно оттягивала руки и больно скребла по ногам лопнувшими прутьями. Но это была такая ерунда по сравнению с моим счастьем. И тени от веток весело танцевали на потрескавшемся асфальтовом тротуаре... Только это случилось, кажется, не в нашем городе, а в Северо-Подольске, где мы гостили у дяди. Но не все ли равно?

Я теперь помнил!

Матроска оказалась великовата, и мама до вечера перекраивала ее и перешивала, а я пританцовывал от нетерпения. Наконец я нырнул головой в прохладные полотняные складки, и мне показалось, что матроска пахнет, как паруса на старых фрегатах.

Я перед зеркалом расправил складки под ремешком, глубоко вздохнул, повис у мамы на шее и чуть не уронил ее.

— Пират,— сказала мама.— Не носись долго по улицам, уже поздно.

Вечер висел над городом прозрачно-синий, с желтой полосой за низкими крышами. Кое-где на огородах горели маленькие оранжевые костры. Стояло такое тепло, что воздух казался пушистым. И все кругом было молчаливым, но живым. Облетала черемуха, и густо цвели над заборами яблони. И еще казалось, что в воздухе неслышно лопаются невидимые почки каких-то громадных цветов. Вот-вот эти цветы выступят из полумрака, коснутся теплых заборов, сухих телеграфных столбов, железных крыш, и тогда все уже полностью оживет и задрожит от непонятной радости.

Едва я отошел от крыльца, как мне в плечо и в грудь с размаху ударились два майских жука. Я вздрогнул, хотя жуков ничуть не боялся. Просто нервы были натянуты. Сердце колотилось от радостного страха и смущения. Так колотилось, что бумажный голубь, спрятанный под матроской, вздрагивал и шевелил крыльями. Еще бы не колотиться! Я ведь не просто так вышел на улицу. Я шел к дому, где жила девчонка с желтыми глазами.

Замирая и оглядываясь, я перелез через забор и прыгнул в траву. Лето еще не начиналось, а трава уже стояла большая, особенно разрослись лопухи. Они были прохладные и мягкие, как губы доброго большого зверя. Я посидел в лопухах, скользнул к большой яблоне и по корявому стволу забрался в чащу веток. Цветы белые — и матроска белая. Цветы щекотали мне щеки, и я чувствовал, что пушистые тычинки оставляют на коже пыльцу.

В просветах между листьями я видел открытое окно. И девочку. Она сидела у настольной лампы и читала учебник географии за пятый класс, такой же, как у меня. Она рассеянно теревала двумя пальцами нижнюю губу и слегка хмурилась. Так славно она хмурилась...

Я сидел и смотрел, пока она не перелистнула страницу. Тогда я испугался: вдруг закроет книгу и уйдет! Перестал дышать и достал из-под матроски бумажного голубя. Это было мое первое письмо к девочке. Ничего я на нем не писал, только нарисовал на крыльях красные звездочки, как у самолета. Но все равно...

Я сосчитал до пяти, рывком высунулся из веток, прицелился и послал голубя. Он хорошо пошел сначала, а у самого подоконника нырнул к земле. И сердце у меня нырнуло. Но голубь взмыл, влетел в комнату и клюнул матовый белый абажур. И упал на стол.

Она вздрогнула. Взяла его, обернулась к окну. Она смотрела прямо на яблоню. Прямо на меня!

Я шумно упал в траву. Неуклюже, но быстро перевалился через забор и припустил вдоль переулка. Дышал отчаянно, со всхлипом. Непо-

нятное чувство — какая-то смесь стыда и радости — обжигало лицо. «Она меня заметила! В белой матроске на темном заборе, конечно, заметила! И узнала... Ну и пусть! Пусть узнала!..»

Лишь у крыльца я увидел, что на рукаве вырван клочок...

— Надо же так набегаться,— сказала мама.— Бурлишь, как самовар.

— Ма... ты не сердись. Я порвал нечаянно... Мама вздохнула и пошла за нитками. ...Было это или не было?

Когда я вернусь, я спрошу у Вари, не залетала ли в ее детство бумажная птичка с красными звездочками на крыльях.

Долго ли шли, не знаю. Не чувствовалось время. Его, может быть, вообще не было в этом лабиринте. Но вот запрыгали у меня по белым рукавам матроски солнечные пятна.

Мы, жмурясь, вышли из расщелины.

Перед нами лежал пологий берег со светлыми пляжами. Кое-где из ровной земли торчали обрывки желтых скал — в одиночку и группами. Впечатление было такое, словно скалистую местность занесло до каменных вершущек песком, и он образовал ровные площади. Местами они заросли сплошной высокой травой, но были и прогалины, где сквозь песок торчали только отдельные тонкие стебельки. Трава тоже была желтоватого цвета. Она гнулась под ровным ветром и звенела, как звенит в полях спелый овес.

На желтую сушу ровными синими грядами с белыми гребешками двигался океан. Волны далеко-далеко разбегались по пескам, а уходя, оставляли шипящие языки пены.

Было столько солнца, тепла и спокойного праздника в этом летнем мире, что тревога и горечь растаяли. Мысль о неизбежном расставании не забылась, но отступила и стала пока не главной. А главным был яркий день, который ждал нас. И мало ли что еще могло случиться!

Я увидел веселые Володькины глаза.

— Так вот ты какой на самом деле,— сказал Володька.

Я чувствовал знакомую легкость и струнную упругость в своих ребячьих мускулах. И все ощущения были ребячьими. От чрезмерного недавнего загорания — на плотях в Северо-Подольске — слегка болела на плечах кожа (это была несильная, даже приятная боль, а касание матроски было прохладным и ласковым). Немного ныла коленка с подсохшей ссадиной — ободрал недавно на откосе у Северо-Подольской крепости... А рука совсем не болела!

Володька еще раз оглядел меня от кедров до матросского воротника и заметил:

— Ничего. Сейчас хоть на человека похож.

— Будешь дразниться — получишь,— пообещал я.— Теперь имею право.

Володька отскочил и показал язык. Братик скинул на песок штурманскую куртку и торопливо встал рядом с другом.

— Кто на наших?

Это он шутя сказал, даже ласково. С веселым прищуром и улыбкой. Но я подумал: «Не дай бог кому-нибудь всерьез обидеть Володьку на глазах у Василька».

Они стояли плечом к плечу, и опять я заметил их удивительное сходство. Не в лицах, а в чем-то неуловимом: в улыбке, может быть, или в движениях... У Братика выбилась из штанишек и полоскала по ветру шелковистая рубашонка, у Володьки задралась пестрая майка, открыв поцарапанный загорелый живот.

— А где твоя штормовка?

— Там осталась,— беспечно откликнулся Володька.— Застряла в шиповнике, я ее бросил.

— Растяпа,— по привычке сказал я.

Они, переглянувшись, двинулись ко мне, и я отскочил. Конечно, они потоньше и пониже ростом, но зато двое. Уж если взрослого вытянули из-под обрыва, мальчишку отваляют в песке за милую душу.

А Валерка на нас поглядывал с молчаливой усмешкой. Он был теперь самый старший.

Но и он не был взрослым. Вдруг подхватил с земли куртку, вытянул ею меня по спине и закричал:

— Купаться!

Мы радостно заорали и бросились к морю.

Теплые волны были упругими и добрыми. Мы как наплавались и напрыгались в них, что бесценно бухнулись ничком, едва выбравшись на берег.

Это было такое счастье: лежать под солнцем, слизывать с кожи соленые капельки и подгребать под себя горячий песок.

За травой, за камнями, в сотне метров от нас, на плоском бугре стоял серый маяк. Он был совсем рядом с выходом из лабиринта, но мы, когда появились здесь, не заметили башню: она стояла у нас за спиной, а мы смотрели на море.

Зато теперь мы разглядывали маяк внимательно. Это была квадратная башня с узкими окнами и чем-то вроде круглой застекленной беседки, похожей на громадный фонарь. Я вспомнил, что стеклянная надстройка у маяков так и называется — «фонарь». Там должны стоять яркие лампы. Но на этом маяке ламп, наверно, не было. В решетчатых стеклах «фонаря» чернело множество пустых клеток, а на верхнем карнизе я различил кустики.

— Он не действует? — спросил я у Валерки.

— Давно уже. Лет сто... Знаешь, куда нас занесло? Это Желтый остров Западного Каменного Барьера. Очень опасное место для кораблей. Штурманы обходят его по такой дуге, что тра-

тится лишняя неделя. Вот пока горел маяк, другое дело...

— Почему же сейчас не горит?

Валерка досадливо двинул острыми плечами.

— А кто починит? Я же говорил, мы все начинаем заново. До многого руки не дошли. Здесь давным-давно и не бывал никто. Я это место сам раньше только на карте видел.

— Далеко отсюда до вашей гавани?

Валерка смущенно сказал:

— Миль триста. Промахнулся я немного с лабиринтом... А может быть, это и хорошо.

— На маяк слазим? — спросил Володька.

— Обязательно,— пообещал Валерка.

Но подниматься с песка не хотелось, и мы лениво валялись на солнце.

Наконец Братик подполз к Володьке и зашептал на ухо. Они поднялись, пошли вдоль пляжа по шипучей пене и скоро исчезли за грядой камней — она тянулась с берега в море, как остаток древней крепостной стены.

Я с некоторым беспокойством посмотрел им вслед, однако вставать было лень. «Ничего не случится», — сказал я себе.

Но через несколько минут что-то случилось. Братик и Володька выскочили из-за камней и пустились к нам. О чем-то кричали.

Мы вскочили.

Они подлетели возбужденные, но без испуга, а с радостью:

— Пошли скорее! Мы лодку нашли!

8

Скалистая гряда врезалась в море метров на семьдесят, а потом круто поворачивала и шла вдоль берега, постепенно рассыпаясь на отдельные камни, как сплошная линия, которая вдруг рвется на тире и точки. Этот невысокий каменный барьер образовал бухточку. Волны лишь кое-где перехлестывали в нее, и вода была почти спокойной. В самом тихом месте, там, где гряда делает поворот, стояла, приткнувшись к скале, парусная лодка.

Мы добрались до нее по каменистому гребню.

У лодки была высокая узкая корма с затейливой резьбой, широкий корпус, обведенный узорчатым поясом по округлым бортам, крепкая мачта и длинный косой реёк со свернутым на нем парусом.

Братик первым прыгнул в лодку. За ним, конечно, Володька. Лодка закачалась, словно проснулась.

— Как для нас приготовлена! — весело сказал Володька. А Братик ухватился за руль, и тот бесшумно заходил в медных петлях.

Мы с Валеркой тоже прыгнули.



— А ничего, что мы без спрессу? — сказал я Валерке. — У нее, наверно, есть хозяин? Кто-то приплыл сюда?

— Приплыл век назад, — отозвался штурман Дэн. — Смотри, какая старая.

И в самом деле, в мелких щелях обшивки и у шпангоутов блестел песок, принесенный ветром. Древесина планшира выветрилась, а к железным втулкам уключин прикипела красная морская ржавчина.

— Но тогда лодка гнилая, наверно...

— Это дерево не гниет. Вот разве парус...

Парус был треугольный, вроде тех, какие у нас называют латинскими. Он закачался, когда мы его развернули, хлопнул под ветерком.

— Хорошая ткань, — сказал Валерка. — Каменистое волокно. Тоже не гниет.

— Вроде капрона? — спросил Братик и потрогал обмотанную вокруг живота веревочку.

— Вроде... — согласился Валерка.

А Володька нетерпеливо сказал:

— Раз лодка есть, надо плыть. Не зря же она...

Валерка встал к рулю, а мне дал шкот — мягкий трос, идущий от нижнего угла паруса.

— Держи, чтобы не полоскал.

Братик и Володька сбросили с каменного выступа канатную петлю, которая удерживала лодку. Оттолкнули нос.

И мы пошли!

Сначала не очень быстро пошли, но, когда грядя кончилась, ветер навалился на парус, растянул складки, и мы понеслись.

— Поворот! — сказал Валерка.

Лодка покатила носом в открытое море, парус перекинуло, а меня нижним углом огрело по уху и чуть не выкинуло за борт.

— Держи! — завопил Валерка. — Я же сказал — поворот!

Я очень хотел выглядеть морским волком и натянул шкот изо всей силы. Братик и Володька бросились мне помогать.

Лодка весело мчалась в распахнутый синий океан, разлинованный шипучими белыми гребнями.

Может быть, если смотреть с берега, скорость была небольшой. Но мы шли круто к ветру, волны бежали навстречу нам, и казалось, что мы взлетаем на них со скоростью глиссера.

Лодка легко взбегала на гребни, но иногда теплые брызги окатывали нас. Мы хохотали и не боялись. Все равно одежда осталась на берегу, на нас были только плавки, да веревочка на поясе у Братика.

Лодку стало сильно класть на правый борт. Чтобы открыть ее, Братик и Володька с левой стороны ухватились за планшир, зацепились ногами и сильно откинулись назад. Почти вывалились за борт. Гребни перехлестывали через них, и они радостно орали.

Мне стало завидно, и я, не выпуская шкота, перебрался к Володьке и Братику. Тоже откинулся за борт.

— Перевернете лодку, черти,— сказал Валерка.

Но мы не слушали светлого штурмана, хотя он и обещал выкинуть нас из лодки. Тогда штурман вскользь заметил, что в этих водах на таком удалении от берега уже плавают всякие морские гады — скользкие и кусачие. Володька торопливо перебрался к мачте и сообщил, что ему надоело окутаться. Деловито спросил:

— А куда плывем?

— Все равно. Давайте вон на тот островок,— сказал наш командир.

Впереди, в полукилометре от нас, поднимались каменные зубцы.

Минут через пять мы подошли к скалам. С подветренной стороны, где как раз не было сильной волны, виднелся неширокий проход.

Парус заполоскал. Хватаясь за камни, мы завели лодку в крошечную круглую бухту. Скалы вокруг были такими высокими, что бухточка напоминала грот.

— Наверно, это жерло старого вулкана,— сказал Володька шепотом, но этот шепот на шелестящих крыльях разнесся по каменным уступам.

— Скорее, это остатки морского храма,— сказал Валерка.— Смотрите.

Вверху на желтоватой плоскости скалы было выбито громадное лицо с длинным подбородком и продольным разрезом глаз.

— Суровый портрет,— заметил я.— Какой-нибудь бог моря?

Валерка кивнул:

— Кажется, это Хранитель морских глубин...

— Не Хранитель глубин, а Хака Баркарис — Раскаленный Клык и Звезда Океана. Адмирал пиратской флотилии,— серьезно сказал Братик.

— Откуда ты знаешь? — удивился Валерка.

Братик хитровато глянул на него.

— Читал. Думаешь, ты один изучал науки?

— Зазнайка,— сказал Валерка, но без насмешки, а скорее с удовольствием. И растрепал Васильку волосы на загривке.

Братик притворно надул губы.

— У, какой...— буркнул он, легонько двинул Валерку локтем, но тут же потерял ухом о его плечо. Потом застеснялся незаметной этой ласки и весело предложил:

— Окунем штурмана? Он один сухой.

Мы дружно поддержали эту мысль. А светлый штурман Иту Лариу Дэн убежал на нос и оттуда сказал, что пиратский адмирал Хака Баркарис был бы в восторге от такого бандитского экипажа, как мы.

Преследовать штурмана мы не стали. В этой похожей на храм бухте не хотелось дурачиться.

В узкие проходы среди камней вливалась вода, когда накатывал гребень. Плеск и журчанье наполняли бухту. Но всякий другой звук все равно вызывал гулкое эхо.

Свет падал сверху золотистыми столбами. Столбы эти уходили в толщу воды и постепенно растворялись в зеленом сумраке. Дна не было видно. Только смутные тени водорослей колыхались в глубине.

Володька и Братик легли животами на планшир и стали смотреть в воду.

— Если здесь бывали пираты, значит, на дне могут лежать сокровища,— заявил Володька.

Братик тут же его поддержал.

— А глубина-то,— сказал Валерка.— Разве донырнешь?

— Давайте смерим,— предложил Володька.

Они с Братиком отыскивали на дне лодки уключину, покрытую окалиной морской ржавчины, и привязали к концу веревочки.

— Здесь ровно двадцать метров,— сообщил Володька.— Достанет или нет?

Они стали опускать свой самодельный лот. Но достал ли он до дна, было непонятно. Веревочка, размотавшись почти до конца, ослабла, потом снова натянулась — и так несколько раз. Братик переглянулся с Володькой и потянул ее назад.

— Мамочка! — не скрывая ужаса, вдруг завопил Володька. Торопливо стуча локтями и коленками по шпангоутам, он уполз на корму.

На конце веревочки не было уключины. Вместо нее висел громадный краб.

— Да не бойся,— со смехом сказал Братик.

— Ага, не бойся! Чудовище такое.

Краб в самом деле выглядел страшновато. Его туловище было размером с чайное блюдце, а клешни — каждая с Володькину ладошку. Панцирь оброс ноздреватыми ракушками, среди которых запутались обрывки водорослей. От этого краб казался замшелым каким-то, старым и сердитым.

Но Братик бесстрашно, словно котенка, посадил его на колени. Ласково поскреб твердую крабью спину.

— Совсем не чудовище. Он добрый.

Краб далеко выставил на стебельках глазшарики и повернул их к Братику. Мне показалось, что с любопытством.

— Хороший...— снова сказал ему Братик и отколупнул несколько ракушек. Из-под них блеснула чистая эмаль панциря — голубоватая с морными прожилками.

Крабы, конечно, не умеют улыбаться, но мне, честное слово, показалось, что этот смотрит на Братика с улыбкой.

Братик ему тоже улыбнулся. Потом сказал, не поднимая головы:

— Володька, иди сюда.

— Я что, псих?

Братик опять засмеялся:

— Иди, иди.

Володька вздохнул и, как был на четвереньках, двинулся навстречу страху.

Краб ждал, приподняв клешни.

— Смотри, он все понимает,— сказал Братик.

И сунул мизинец в крабью клешню. Володька охнул и зажмурился. Краб чуть-чуть сдавил палец Братика и тут же отпустил. Это было похоже на ласковое рукопожатие.

Володька приоткрыл один глаз.

— Теперь ты,— сказал Братик.— Не бойся.

Володька жалобно оглянулся на меня.

— Давай, давай,— сказал я.

И Володька совершил подвиг: дал крабу свой мизинец.

Потом, когда ничего страшного не случилось, он шумно подышал, сел, привалившись к борту, и локтем вытер капли со лба.

— Молодец,— прошептал Братик. То ли Володьке, то ли крабу.

— Это очень умные звери,— объяснил мне Валерка.— Некоторые ученые пишут, что у больших крабов есть свой язык.

— Крабы все понимают, как люди,— сказал Братик.— Давайте мы его попросим что-нибудь найти.

— Давайте! — совсем по-ребячьи обрадовался штурман Валерка.

— А как это — попросим? — слабым голосом поинтересовался Володька.

— А вот сейчас...

Братик взял моток веревочки, наклонился над крабом и, немного смущаясь, проговорил полусшепотом:

Житель моря, добрый краб,
Ты наш друг, а не раб.
Будь так добр, достань со дна
То, что спрятала волна.

После этого он сунул крабу в клешню веревочку и опустил его за борт. Мы увидели, как наш морской гость погружается в зеленую глубину. Белый шнурок потянулся за ним.

Скоро краб исчез в тени среди водорослей.

— Подождем,— сказал Братик и намотал веревочку на палец.

— А долго ждать? — спросил я.

— Не-а...

Прошло минуты две, и Братик стал выбирать шнур. Мы с Валеркой легли животами на планшир, но Братик сказал:

— Пожалуйста, не надо. А то он подумает, что мы жадные.

Мы были нежадные, но любопытные. И с нетерпением ждали, когда краб снова окажется в лодке. Даже Володька ждал.

Братик ухватил краба за твердую спину и посадил на планшир. Наш восьминогий друг встал на четыре задние лапы, а остальные конечности

поднял, словно приветствуя нас. Глаза его весело блестели. В левой клешне у краба был зажат приплюснутый серый шарик размером с небольшое яблоко. Братик подставил руку, и краб уронил свой подарок ему в ладонь.

Потом он сам опрокинулся в воду. Но прежде чем покинуть нас, этот странный морской житель (я сам видел, честное слово) прощально помахал клешней.

— Ну вот, даже спасибо не сказали зверю,— заметил Валерка.

— Я сказал, только тихонько,— возразил Братик.

— А что он принес? — заинтересовался Володька. Он сразу приободрился, когда краб исчез.

На ладошке у Василька лежал панцирь морского ежа. Он был старый, иголки с него осыпались, и остались только мелкие бугорки. Панцирь был похож на круглую коробочку с отверстием в доннышке.

Братик потряс коробочкой, и в ней что-то застучало, как в погремушке. Потом бок у панциря проломился, и на дно лодки упала светлая горошина.

Валерка схватил ее. Я увидел, что он даже слегка побледнел.

— Не может быть... — пробормотал он.

— Жемчужина? — спросил я, наклоняясь.

— Жемчужины бывают в плоских раковинах,— недоверчиво проговорил Володька.— А эта в какой-то черепушке.

— Это не простой жемчуг,— тихо сказал Валерка.— Он не растет в раковинах. Это вечный жемчуг.

Я заметил, как вздрогнул и широко открыл глаза Братик.

Жемчужина лежала на ладони у Валерки. Светлая полупрозрачная бусина с затаенной голубой искрой внутри.

— А почему она вечная? — спросил я.— Не тускнеет?

— Это капли звездного дождя, они падают с неба,— объяснил Братик.— И застывают в море.

— Как метеориты? — спросил Володька.

— Почти,— задумчиво откликнулся Валерка и покачал жемчужину на ладони.— Только метеориты из камня или железа, а это... в общем, это звездное вещество... Между прочим, один такой шарик может сделать человека императором или перессорить целые государства...

— Ничего себе добыча... — опасливо заметил Володька. А я сказал:

— Давай выкинем...

Валерка улыбнулся:

— Зачем выкидывать? Мы с Васильком это вам подарим — тебе и Володьке. Вы же не собираетесь в императоры... Будете вспоминать нас.

Последние слова кольнули меня мыслью о близкой разлуке.

Валерка взял мою ладонь и переложил в нее жемчужину. Весила она, как добрая свинцовая пуля, а размером была с крупную ягоду смородины.

Я понимал, что отказываться нельзя.

— Спасибо, Валерка. Спасибо, Василек.

Братик сказал:

— Она в темноте светится. Будто маленькая луна...

— А почему все-таки этот жемчуг вечный? — снова спросил я.

Валерка сказал с непонятной строгостью:

— Он горит вечно. Если зажечь, начинает сиять, как солнце, и уже никогда не гаснет. В Старом Городе на Западных островах одна жемчужная крупинка, в десять раз меньше этой, освещает целую площадь уже много веков. И ничто не страшно такому огню. Даже под водой не гаснет.

— Без воздуха горит?

— Звезды тоже горят без воздуха, — сказал Валерка.

Володька тронул пальцем жемчужину.

— Значит, она — маленькая звезда?.. Какой хороший этот краб. Не буду я больше бояться крабов.

Мы засмеялись. Я положил тяжелую горошину в кармашек на плавках. Братик стал сматывать веревочку. А пиратский адмирал Хака Баркарис непонятно смотрел на нас со скалы.

9

С попутным ветром мы долетели до берега в несколько минут. Валерка ловко ввел в бухту лодку, мы ее привязали и по камням выбрались на пляж.

Близился вечер, и в воздухе прибавилось желтизны. Тише стал ветер, и звонче шелестела трава. Мы уже не шумели и не дурачились. Утомились немного.

Начинался отлив. Океан отступал, открывая мокрое песчаное дно с темными плетями водорослей и круглыми блестящими лужами.

Братик и Володька немного побегали по этим лужам, брызгая друг друга, но без особой охоты. Вскоре Володька наткнулся на выпуклую блестящую спину зарывшейся в песок черепахи. Он захотел показать Братику, что не боится морской живности, и стал откапывать черепаху. Она была неподвижная и какая-то слишком круглая. А потом оказалось, что это глиняный горшок, покрытый странным клетчатый орнаментом.

— Это знаете что? — оживленно сказал Валерка. — Это посуда древних мореплавателей, которые здесь жили тысячу лет назад.

— Может, в ней клад? — заинтересовался Володька.

Но в древней посудине ничего не было. Кроме мокрого песка.

— В них варили раньше похлебку из синих водорослей, — сказал Валерка.

— Хочу похлебку из синих водорослей, — с шуточной жалобностью сообщил Братик. — Есть хочется.

— Бр, — сказал Володька.

— И ничего не «бр». Она вкусная. Только этих водорослей здесь нет.

— Давайте наловим и сварим крабов, — предложил Валерка и украдкой покосился на Братика.

— Еще чего! — воскликнул тот.

Мы засмеялись.

Маленькие серые крабы, словно услышав коварные Валеркины слова, разбежались по песку и прятались под камнями. На многих камнях темнела щетина плоских ракушек — вроде черноморских мидий.

— Сварим моллюсков, — сказал Валерка. — Вполне съедобно.

— А где огонь? — спросил Володька.

Я сразу вспомнил. Побежал, разыскал на берегу свою одежду, вытряхнул карманы. Выпали два синих билета — с ними я и мой приятель Алька Головкин лет пятнадцать назад ходили в кинотеатр «Темп» на фильм «Смелые люди». Потом скользнуло мне в ладонь увеличительное стеклышко — Алькин подарок.

Солнце стояло невысоко, но грело еще хорошо. Я навел огненную точку от стекла на билеты, и скоро на них запрыгал бесцветный огонек...

Мы набрали сухой травы и веток, сварили ракушки в старинном горшке, в морской воде, которая булькала совсем по-домашнему — как суп на газовой плите. Некоторые раковины открылись сами, другие Валерка вскрывал острием своего палаша. Мясо было солонватым и пахло морем. Ну и прекрасно! Володька сказал, что всю жизнь будет помнить этот обед.

Всю жизнь... Будет помнить! И мы снова подумали все об одном: скоро наступит время, когда останется только одно — помнить друг друга.

Мы легли рядом на сухой песок, прижались плечами и стали молчать. Справа от меня был Валерка, слева мой Володька.

Валерка сказал наконец:

— Что-то все равно не так. Будто не сделали самого главного.

— Мы на маяке не были, — напомнил Володька.

— Разве это самое главное? — с мягким упреком сказал Братик.

— А кто знает, — упрямо произнес Володька.

Я посмотрел на него, потом на Валерку. Видно, у меня и у Валерки мелькнула одна мысль.

— Надо зажечь маяк, — торопливо сказал я. — Не зря же мы попали на этот остров.

Братик и Володька разом приподнялись, уткнув острые локти в песок.

Валерка подумал и покачал головой.

— Я тоже хотел... Нет, невозможно. Там должны гореть масляные лампы. А где масло? Кто будет следить? Их надо заряжать, они не могут гореть вечно.

Володька слева от меня резко шевельнулся, и я почувствовал его требовательный взгляд. Я сказал:

— А жемчуг? Он горит вечно.

Валерка быстро вскинул и опустил глаза.

— Это же подарок. Он же ваш — Володькин и твой.

— Он и будет наш. И ваш тоже, — заговорил я как можно убедительнее. — Только он будет гореть! Как... — У меня в голове заскакали всякие мысли про негасимый огонь. Но здесь не нужны были красивые слова. И я заговорил сбивчиво: — Ну, как будто мы вместе... Зажгли для всех...

— И ты вернешься раньше, Дэни, — вдруг тихо сказал Братик. — Не надо будет огибать Барьер.

Верно, Василек! Тут штурману Дэну нечего возразить.

Я вынул из кармашка тяжелый шарик с голубой искоркой внутри. Валерка взял его на ладонь.

— А как зажечь? От простого огня он не загорится. Он вспыхивает лишь от очень сильного пламени. От молнии или от горящего железа...

— Эх ты, штурман! — воскликнул я. — Ты забыл? На всех маяках есть громадные линзы! Мы соберем солнечные лучи!.. Бежим, пока солнце не ушло!

Запыхавшись, мы выбрались на каменную площадку у подножия маяка. Дверь была сорвана. Угрюмо чернел сводчатый вход. Нас не испугала эта угрюмость, мы торопились не упустить солнце: оно было близко от горизонта и стало желтоватым. И все-таки мы задержались у башни.

Недалеко от фундамента среди обкатанных камней лежал огромный якорь. Изъеденный солью, весь красный от морской ржавчины. Его веретено плотно прижималось к плоской базальтовой площадке, один рог с треугольной лапой торчал вверх, а второй целиком ушел в камень. Словно давным-давно камень расплавился, охватил якорную лапу жидкой массой и застыл снова.

Валерка погладил ржавое туловище якоря.

— Знаете, сколько времени он лежит? Здесь было когда-то морское дно, а потом вода отступила. Наверно, он оторвался от корабля больше тысячи лет назад. Так и остался... Смотрите, он намертво врос в планету.

Мы с Братиком тоже погладили покрытую

ржавчиной спину якоря-великана. А Володька хотел пошевелить большое кольцо, куда ввязывают канат, но оно приросло к проушине.

— Солнце уходит, — сказал я.

Тени от якоря, от камней, от невысоких скал, где был выход из лабиринта, стали длинными и протянулись по склону.

Мы вошли в башню.

Башня была квадратная снаружи и круглая внутри. Будто в четырехугольном столбе просверлили широкий ствол. Там, где снаружи приходились толстые, каменная кладка получилась особенно толстой. В ней давние строители выбили полукруглые углубления. Ломаной линией от ниши к нише уходила вверх железная тонкая лестница. Когда мы стали подниматься, она гулко задрожала и с перил посыпалась ржавая чешуя.

Идти было страшновато. Круглая пустота гудела сверху и внизу. Но в узкие окна проникало солнце и рассекало эту пустоту лучами; лучи стали уже розовыми, и надо было спешить.

Я шел последним и смотрел, чтобы Володька и Братик по своей беспечности не загремели со ступеней. Поэтому лишь мельком поглядывал по сторонам. Но все же заметил в нишах мотки полусгнивших канатов, круглые фонари и какие-то черные сундуки, от которых тянулись вверх странные кожаные веревки.

После полутьмы круглого колодца застекленный фонарный ярус почти ослепил нас. Отсюда, с высоты, солнце еще не казалось слишком низким — это первое, что я заметил.

А второе... Второе — то, что линз не было.

Вернее, они были, но совсем не годились для нашей цели. Это оказались не выпуклые стекла, как мы ожидали. Маячные линзы состояли из множества хрустальных колец — одно внутри другого. Издалека они, наверно, были похожи на ребристые стекла автомобильных фар. К тому же эти кольца наглухо были вделаны в неподвижные металлические рамы — ни повернуть, ни снять.

Мы с недоумением и досадой переглянулись. Братик сказал Валерке без упрека, но очень огорченно:

— Разве ты не знал?

Валерка хмуро ответил:

— Я же не маячный мастер. Я на маяки до сих пор только с воды смотрел...

Мне стало до жути обидно. Неужели все зря?

Володька вдруг предложил:

— А если оставить здесь жемчуг и провести к нему громоотвод? Будет гроза, ударит молния...

— Здесь не бывает гроз, — печально сказал Валерка.

Братик зачем-то полез на площадку среди

лина, где раньше находилась лампа. Сейчас там торчали два железных рычага. Радужные пятна от хрустальных колец заскользили по рубашке Братика, потом яркий зайчик прыгнул ему на глаза. Братик сощурился, поднял к лицу ладонь и локтем зацепил гибкий рычаг.

Раздался треск, и проскочила синяя искра.

10

В седьмом классе меня один раз крепко трахнуло разрядом от электрической машины (знаете, такой прозрачный круг с ручкой, щеткой и блестящими шариками). С той поры я нервно отношусь к электричеству.

Я судорожно ухватил Братика за рубашку и рывком выволок его из-за линз. Он удивленно моргал. Володька тоже моргал. А Валерка заметно испугался за братишку.

— Это что же,— сказал я ему.— У вас есть электричество?

Он досадливо покосился на рычаги и хмуро ответил:

— Было... Много у нас было, да забылось. Теперь снова ищем.

Он опять посмотрел на контакты, на Братика и спросил:

— А это... опасно было?

— Смотря какое напряжение,— сказал я и вспомнил кожаные шнуры и черные сундуки в нишах. Это, наверно, кабели и аккумуляторы, с давних пор сохранившие энергию.

На косых железных рычагах были острые клювы, а чуть пониже — деревянные накладки. Видимо, для рук. Я на дрожащих ногах пробрался за линзы и, взявшись за дерево, опять сдвинул контакты. И снова между ними с треском проскочила синяя ломаная искра. Длинной в два сантиметра.

— Это же молния! — воскликнул Володька.— Она зажжет!

Мы обрадовались и стали думать, как укрепить жемчужный шарик между клювами контактов.

От пола поднимался медный винт с круглой площадкой — вроде табуретки для пианистов. Видимо, на этой штуке раньше крепился патрон для лампы. Я до отказа поднял площадку. Однако высоты винта не хватило.

Володька и Братик переглянулись. Володька торопливо сказал:

— Надо камень подложить и чтобы в нем была ямка. Внизу есть такие.

Не успел я ответить, как под Володькиными ногами загудела лестница.

— Осторожнее ты, летучая обезьяна! — заорал я вслед.

В маячном колодце еще не успокоилось эхо,

а Володька уже вылетел из башни на солнечный свет. Мы увидели его с балкончика, который опоясывая «фонарь» маяка.

Недалеко от якоря Володька нашел круглый камень и с натугой поднял его.

— Спускайте веревочку! — крикнул он.

Братик торопливо разматал капроновый шнурок.

— Не хватит,— с сомнением сказал я.

— Хватит,— сказал Братик, тоном, очень похожим на Володькин.

И правда, веревочки хватило. В самый раз. Володька крест-накрест обвязал камень и крикнул, чтобы мы тащили.

— Тащим! А ты поднимайся!

— Я подожду! Вдруг еще камень понадобится!

Больше камня не понадобилось. Булыжник с ямкой наверху словно специально для нас кто-то приготовил. Когда я положил в ямку жемчужину, клювы рычагов уткнулись прямо в нее.

Я нетерпеливо сдвинул их поближе.

Синяя змейка молнии проскочила раз, другой, опоясав белую горошину. Потом искры заплясали непрерывно. Жемчужина отбросила голубые зайчики, но не зажглась.

— Слабое напряжение,— сказал я.

— Значит, ничего не выйдет? — огорченно спросил Валерка.

— Не знаю. Вот если бы получилась вольтова дуга... Она даже металл плавит.

— А как сделать?

— Если бы графит был... Хотя бы карандашик!

— Может, у Володи есть? — сказал Братик.

Мы вспомнили, что Володька все еще ждет внизу, и бросились на балкон. Володька стоял, задрвав голову.

— У тебя есть простой карандашик? — крикнул я.

— Зачем?

— Для контактов!

— Это очень надо?

— До зарезу!

— У меня есть, только он в штормовке остался!

От досады я чуть не плюнул.

— Если надо, я сбегаю! — крикнул Володька. «Сбегаю!» Будто за газетой в соседний киоск.

— Не валяй дурака! — громко сказал я и обернулся за поддержкой к Валерке. Но штурман Дэн непонятно молчал. А Братик сказал умоляюще:

— Пусть сходит. Это же очень важно...

И сбросил вниз моток веревочки.

— Пошли тогда все вместе,— сказал я.

Валерка хмуро объяснил:

— Вчетвером — это в четыре раза дольше.

А время лабиринта на исходе.

Я не понял насчет лабиринта. Понял только,

что должен идти кто-то один. Значит, Володька, потому что другие не отыщут в темных кустах штормовку.

— Но он же заблудится!

— Не так уж это сложно,— сказал Валерка и крикнул Володьке:

— Когда пойдешь вперед, держи за лунным зайчиком. А обратно...

— А обратно я по веревочке! Как Том Соьер в пещере! — откликнулся Володька.

Я увидел, как он привязал конец веревочки к якорному кольцу.

— Не хватит же! — крикнул я.

— Ой уж!..— ответил снизу Володька и, разматывая шнурок, исчез среди скал.

Я приготовился ждать и тревожился. Видимо, Третьей Сказке необходимы и такие минуты... Я стал смотреть, как опускается к морю солнце.

Но тревожиться почти не пришлось. Володька вернулся стремительно. Я не видел, как он появился из-за скал, а сразу услышал гулкий топот на лестнице.

Володька шумно дышал. На нем была штормовка с темными звездочками дождя. От нее пахло сырими листьями.

В первый миг я от радости чуть не облапил Володьку. Но сдержался и спросил, чтобы скрыть слышком явный восторг:

— Ну, все в порядке?

— Угу...— сказал Володька.— Васек, возьми карандашик.

Братик взял карандашный огрызок и зубами расколот его на продольные половинки. Вынул грифель.

Я вытянул из кеда проводок, служивший шнурком. Валерка палашом соскоблил с проводка изоляцию. Очищенной проволокой мы примотали к железным клювам графитовые стерженьки.

— Готово? — прошептал Валерка.

— Да. Только отойдите. Надо осторожно.

Я знал, что жемчуг вспыхнет. Он не мог не вспыхнуть. Сама Сказка привела к этому: и старый маяк, и подарок доброго краба, и мысль, что должны мы оставить память о дружбе...

И не зря же Володька шел в одиночку по звездному лабиринту!

Я медленно, почти торжественно сдвинул рычаги, ожидая разряда. Вспыхнул белый огонь! И в этот миг что-то черное хлестко ударило меня по лицу. Я отлетел и грохнулся спиной о железную раму маячной линзы.

Из-под купола крыши, с темных перепутанных балок, на нас падали с шелестящим шумом громадные летучие мыши!

Или это были не мыши! Странные и страшные существа — безголовые или, может быть, наоборот, состоящие из одной головы. Они походили

на мягкие мешки из мокрой кожи — размером с боксерскую грушу. И на каждом мешке было лицо! Отвратительное, но человеческое! С осмысленной ненавистью в тусклых желтых глазах. А из щек росли перепончатые крылья!

Откуда они взялись, эти чудовища? Наверно, ждали своего часа, притаившись на балках, а мы не заметили их. Мы же не смотрели вверх, когда пришли сюда, не до того было.

Злобная стая атаковала нас, и было жутко от хлопанья крыльев и мельканья страшных темных лиц. Что-то знакомое уловил я в этих лицах: то ли жестокость маски Хака Баркариса, то ли злое отчаянье Канцлера, с которым я дрался когда-то в поединке...

Братик и Володька вскрикнули, покатались к стеклянной стенке «фонаря». Потом вскочили. Володька сорвал с себя пластинчатый поясok и стал яростно отмахиваться от летучих гадов, придерживая левой рукой штаны. Братик сдержнул рубашку и отбивался ею. Мне под руку попалась стальной прут, и я с гневной радостью и отвращением почувствовал, как от моих ударов хрустят и ломаются перепончатые крылья.

Но выручил нас, конечно, Валерка. Его тонкий палаш начал рассекать воздух, и несколько «летающих мешков» с отвратительным шмяканьем ударились о каменный пол. Остальные взмыли на балки.

Было продолжался с полминуты, не больше. Однако мы все дышали тяжело и прерывисто. Очень неожиданным было нападение и слышком отвратительным показался враг.

Три разрубленных «мешка» на полу вздрагивали мокрой кожей и шевелили крыльями. Я не мог смотреть на их перекошенные умирающие лица.

— Ну и твари, — сказал я, передергивая плечами.

— Крылатые нежити, — сквозь зубы ответил Валерка. — В старину считали, что это души убитых злодеев. Я думал, они давно вымерли. Откуда они...

Отчаянный крик Василька перебил его:

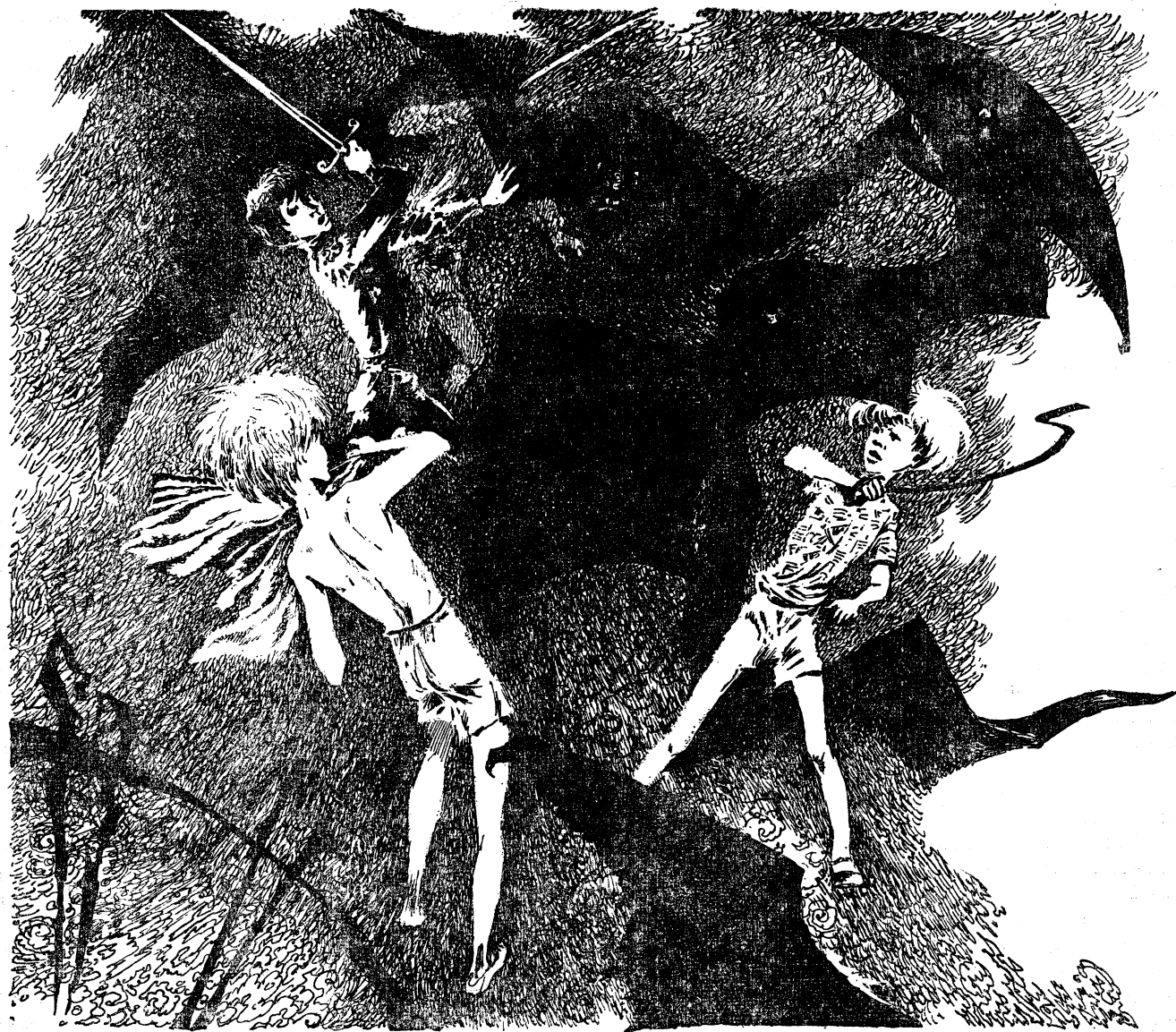
— Жемчуг!!

По слегка наклонному полу прямо к двери катился светлый шарик. Видимо, налетевшие враги сбили его крыльями.

Почему мы не бросились за жемчужиной? Почему оцепенело смотрели, как она убегает от нас? Бывает так: видишь, как что-то падает, а подхватить не можешь, замираешь...

Лишь когда жемчужина исчезла в дверном проеме и мы услышали несколько звякающих ударов по ступенькам, оцепенение прошло. Мы бросились на лестницу...

Искали мы долго и отчаянно. На ступеньках, в нишах, на полу первого этажа. Прощупали каждую щель. Когда солнце ушло за горизонт и лучи его, пробивавшиеся в башню, погасли,



мы раздули на берегу остатки костра и сделали из веток факелы. Но и огонь не помог.

По правде говоря, мы с Валеркой понимали с самого начала, что не найдем жемчужину. Такой крошечный шарик в громадном каменном колодце с закоулками и щелями... Но Володька и Братик, странно переглядываясь, упрямо обшаривали щели между каменными плитами. Наконец все ветки сгорели.

Мы вышли на воздух.

Над морем горел желтый закат. Мы стояли у якоря и смотрели на это ясное свечение. У Василька и Володьки лица стали смугло-золотистыми и совсем одинаковыми. Одинаково строгими и хмурыми.

— Ну, ничего, — заговорил Валерка. — Не плакать же теперь. Ладно, ребята, все равно что-то было...

«Что-то было, — подумал я. — Но, наверно, ничего уже не будет. Грустная сказка идет к концу».

И, словно отвечая мне, Валерка сказал:

— Нам пора.

— Искушаемя напоследок, — попросил я и увидел благодарные глаза Володьки и Братика.

— Но у нас мало времени. Скоро лабиринт исчезнет, — откликнулся Валерка.

— Откуда ты знаешь? — как-то капризно спросил Володька.

— Чувствую. Я же сам его строил.

— Мы только окунемся, — жалобно попросил Братик.

— Давайте, — коротко сказал Валерка.

Он бросил у якоря куртку, Володька швырнул на нее штормовку, и мы побежали к морю.

У самой воды я оглянулся. Закат отражался в стеклах маячного фонаря, и они горели, словно маяк все-таки зажегся.

11

Волны были теперь янтарными и стали еще теплее и ласковее. Они будто смыли с меня горечь неудачи. По крайней мере, когда я выбрался на песок, то досады не чувствовал.

Но наступали минуты, о которых я боялся думать.

Я машинально натягивал матроску и думал о странной природе человеческих привязанностей. Ну, кто мне эти двое ребят? Ведь не братья. И даже давними друзьями не назовешь. Что же так связало меня с ними? То, что они из другого мира? Чушь какая! Да если бы они оказались мальчишками с соседней улицы, я был бы самым счастливым на свете! Может быть, дело в том, что мы рисковали друг для друга? Но это бывало со мной и раньше. В кавказском походе мы с приятелем выволокли из ледяного потока двух парней. Ну и что? Теперь только под Новый год открытками обмениваемся. А Валерка и Братик... Почему же сердце останавливается, как подумая, что сейчас разойдемся?

Если вспомнить, мы и знакомы-то в общей сложности не больше трех дней. А Володька с Васильком — те лишь сегодня увиделись. И вот прикипели друг к другу.

Я посмотрел на них. Братик помогал Володьке застегнуть хитрую пряжку блестящего пояса, и они о чем-то шептались. Быстро и деловито. Они словно не собирались прощаться. Они вели себя, как два одноклассника, которые договариваются завтра пойти в кино.

Может быть, не почувствовали еще до конца, что сейчас расстанутся навсегда? Или не подавали вида? Они же крепкие ребята...

Валерка тоже смотрел на Василька и Володьку. Я вдруг подумал, что сегодня впервые узнал его настоящее имя.

— Дэни... — тихо сказал я.

Валерка обернулся. У него были ласковые глаза, и он хотел сказать что-то хорошее.

И вдруг он вздрогнул. Поднял голову, будто услышал далекий сигнал.

— Время убегает.

Мы начали зашнуровывать кеды.

— Скорее, — нетерпеливо попросил Валерка.

Мы торопливо зашагали к маяку.

— Еще скорее надо, — уже с открытой тревогой сказал Валерка.

Володька и Братик переглянулись.

— Тогда побежим! — предложил Володька, и мы рванули вверх по склону.

Но Володька вдруг ойкнул и ткнулся в траву. Я подскочил.

— За камень зацепился, — сказал Володька, глядя на свой локоть. — Вот.

Кожа была содрана, по руке текли темные струйки.

Я скинул матроску, зубами рванул нижний шов, с треском отодрал от подола узкую ленту, смутно вспоминая, что однажды так уже было. Начал заматывать Володькину ссадину. Валерка стоял рядом. Я чувствовал, что все жилки звенят у него от нетерпеливого беспокойства.

Я затянул узел.

— Бежим!

Володька вскочил и снова сел.

— Нога, — хмуро сказал он. — Кажется, подвернулась.

Я подхватил его на руки. Бежать мы теперь не могли, но я торопился изо всех сил.

Был уже виден вход в лабиринт. Скорее!

У входа словно размыло края. Скалы как бы растеклись, и щель заплывла, исчезла. Упругий толчок воздуха остановил нас. Качнулась земля, контуры камней и маяка стали размытыми, пространство сдвинулось, и... вместо скал и якоря я увидел каменную насыпь, поросшую редкими кустами, а башня исчезла.

— Что это? — растерянно спросил я.

— Эхо времени. Волна, — как-то устало сказал Валерка и сел на валун, поставив палаш между колен. У него был вид человека, который опоздал на последний пароход, и знает, что сейчас торопиться бесполезно.

Я опустил Володьку, и он довольно прочно встал на больную ногу.

А Василек... Он глянул на Володьку, потом подошел к брату, сел на корточки, положил подбородок на Валеркино колено.

— Ну, ты чего, Дэни, — сказал он ласково и немного виновато. — Ты не горюй, у нас же есть лодка. Корабль без тебя не уйдет. При хорошем ветре мы доберемся до Гавани за трое суток.

В первый момент я обрадовался: значит, ничего страшного не случилось! Но тут же чуть не взвыл от отчаянья:

— В Гавани же нет лабиринта! Значит, я в таком виде явлюсь домой?

Братик тихонько засмеялся.

— Да нет, это обратный переход. Там все просто.

Я облегченно вздохнул. А Володька заметил:

— Я бы на твоём месте только радовался, если бы таким вернулся. По крайней мере, сам на себя похож.

— Ага, — сказал я. — И Августа Кузьминична тоже бы радовалась. Подумать только: зав. литературной частью в матроске и шортиках...

— А чем плохо? У вас же детский театр. По-моему, директорша была бы довольна.

— А Варя?— спросил я.— Она тоже была бы довольна?

Володька подумал и не без ехидства заметил, что с Варей, конечно, сложнее.

Мы уже шутили. А что? Выход был найден, расставанье отодвинулось на несколько дней, и эти дни обещали новые приключения. Конечно, будет очень трудно в открытом море на маленькой лодке, но зато мы вместе!

— Дэни, ну ты чего молчишь?— опять обратился к брату Василек.— Мы напечем ракушек. Для пресной воды есть горшок. Если понемножку пить, то хватит. Да мы с тобой можем и морскую...

— Я тоже могу...— вставил Володька.

Штурман Дэн шевельнулся и отложил палаш.

— Вы разве не понимаете?— спросил он угрюмо.— Откуда здесь лодка? Вы не знаете, что такое эхо времени?

Мы с Володькой не знали. Братик, видимо, тоже. И ответом Валерке было наше испуганное молчание.

— Нас волна от лабиринта закинула неизвестно куда,— сказал Валерка.— На тысячи лет назад или вперед. Смотрите, нет ни якоря, ни маяка. Даже скалы другие...

Володька торопливо шагнул ко мне и прижался забинтованным локтем к моему боку...

Потом сошлись мы все четверо в молчаливый кружок и сели на камни среди травы. Отчаянье часто бывает молчаливым.

Закат светил долго, но вдруг как-то сразу догорел, и наступила темно-синяя ночь. Без луны. Зато высыпали звезды, видимо-невидимо. И очень яркие, и не очень. Одни казались совсем близкими, а другие горели в неистижимой дали. Через все небо протянулся изумительно светлый Млечный путь. Сгустки звездной пыли словно клубились в космической глубине. Но это был чужой Млечный путь и незнакомые созвездия.

Боже мой, как мне захотелось под хмурое ночное небо, на улицу дачного поселка, где шелестит в листьях дождик, пахнет сырой травой, а за деревьями, вдали глухо вскрикивают электрички... Но не было туда пути. А если и был, мы его не знали. Валерка сказал, что нельзя построить второй лабиринт.

При свете звезд мы различали друг друга. Никто не шевелился. Братик положил голову на колени Валерке и, казалось, задремал. Володька сидел, обняв себя за плечи, и смотрел в землю.

Вдруг он ударил кулаками по коленям и с тоской сказал:

— Ну, дурак я, дурак. Все из-за меня.

— Ты же не виноват, что споткнулся,— сказал я.

— Да виноват же!— со слезами в голосе крикнул Володька.— Я нарочно упал! Я время тянул.

Не поднимая головы, Братик прошептал:

— Мы оба виноваты. Мы хотели, чтобы на лодке. Чтобы еще вместе...

— Я догадался,— сказал Валерка.

— Теперь вы нас никогда не простите,— бесцветным от отчаянья голосом произнес Володька.

— Простим,— сказал Валерка.

Мы еще помолчали, потом Братик поднял голову и спросил:

— Что же теперь делать?

— Думать о ночлеге,— спокойно и очень по-взрослому ответил штурман Дэн.— Ночью будет свежо. Соберите побольше сухой травы и веток, мы устроим гнездо.

Братик и Володька вскочили.

— Далеко не отходите,— предупредил я.

Володька спросил:

— Можно, я возьму саблю? Ветки рубить.

Валерка вынул из ножен и отдал ему палаш.

— Только осторожнее,— сказал я.

Они отошли за камни, но мы слышали их приглушенные голоса и удары клинка по твердым сучьям.

Валерка спросил сбивчиво и нерешительно:

— Послушай... вот если бы я... ну, если бы со мной что-то случилось... совсем... Вы бы взяли к себе Василька?

— Что за чушь к тебе в голову лезет!— сердито сказал я.

— Все-таки скажи. Ну, если бы...

— О чем ты говоришь!— возмутился я.— Неужели бы оставили?.. Только... Он сам захотел бы? Наша Земля ему чужая.

Валерка покачал головой.

— Не чужая, раз вы там. Кроме вас, у него никого нет.

— А ты?

Валерка сел ко мне вплотную и вполголоса произнес:

— Я неправду говорил. Лабиринт построить можно... Только никто не строил его трижды.

— А зачем трижды? У тебя он будет второй...

При рассеянном звездном свете я заметил Валеркину улыбку, невеселую и короткую.

— Это вроде поговорки,— объяснил он.— Трижды никто не строил, потому что второй лабиринт отнимает жизнь у строителя.

— Почему, Валерка?

— Ну, это трудно объяснить. Ты видел огонек на клинке? В нем сгорают все силы... Да мне даже не страшно, только обидно...

Я вспомнил, как леденела Валеркина рука.

— А если взяться всем?

— Не поможет. Первый все равно умрет... Это же лабиринт.

— Ну и к чертям его тогда!

— А как быть?

— Не знаю. Что-нибудь придумаем.

Он поднялся, встал у меня за спиной, положил мне на плечи ладони.

— Сережа, что мы придумаем? Нас закинуло неизвестно в какие времена. Только лабиринт еще может спасти вас.

Он так и сказал — «вас».

Я сбросил с плеч его руки.

— Дудки, светлый штурман! Этот номер не пройдет!

— Да перестань,— досадливо сказал он.— Ты же знаешь, что иногда это необходимо. Ты же сам хотел разрубить веревку.

— Ну, хотел... Я надеялся, что, может быть, спасусь. Да и выхода не было.

— А сейчас есть выход?

Я промолчал.

— Подумай о тех, кто остался там, у вас.

Это был нечестный прием... Конечно, я не собирался соглашаться с Валеркой, но в моей твердости появилась трещинка.

— Братик умрет без тебя,— сказал я.

— Не умрет, если будет с вами.

Сзади раздался громкий шелест. Мы оглянулись. Это незаметно подошел Володька и бросил охапку травы.

— Беседуете...— непонятно сказал Володька.

— Где Василек?— с тревогой спросил Валерка.

— Сейчас придет... А сабля у тебя острая. Ж-жик — и нет куста.

— Хороший клинок,— со скрытым беспокойством откликнулся Валерка.— Он где? Не потеряли?

— Вот он.— Володька поднял с земли палаш.— А без него ты мог бы построить лабиринт?

— Без него не мог бы. Давай сюда...

— Сейчас...— Володька сделал шаг назад.— Тут где-то была щель в камне... Ага!

Клинок звякнул о валун. Володька замер на миг, потом рванул назад и навзничь упал в траву. Раздался короткий звук лопнувшей стали.

Мы подскочили к Володьке, а с другой стороны, роняя ветки, подлетел испуганный Братик.

Володька лежал на спине, прижимая к груди обломок палаша.

— Ты с ума сошел!— заорал Валерка.

Володька встал и отбросил обломок.

— Это ты сошел с ума,— сердито сказал он.— Я же слышал... Ишь чего задумал!

Валерка сразу притих и опустил руки.

— Ну и дурак,— сказал он совсем по-мальчишески.— Ну и будем сидеть здесь всю жизнь.

— Не будем сидеть,— негромко, но твердо возразил мой Володька.— Мы пойдем. Что-то все равно должно случиться. А чтобы случилось, надо идти.

Мы шли.

Сначала под ногами были мелкие камни, а у колен качались пушистые метелки на тонких стеблях. Потом вышли мы на твердую плоскость. Свет Млечного пути стал еще ярче, и видно было на сотню шагов. Я разглядел шестиугольные каменные плиты, ими оказалась покрыта широкая полоса земли. Она прямой лентой уходила к звездному горизонту.

— Смотри, Дэни, дорога,— сказал Братик и взял Валерку за руку. Другую руку он протянул Володьке, а Володька крепко сцепил свои пальцы с моими. Мы тесной шеренгой зашагали по гранитным плитам. В непонятном тихом мире, в неизвестном времени, не зная куда...

Справа мерцал океан, слева и впереди терялась в ночи каменистая равнина. Отдаленно шумели волны. Ветра не было. От нагретого за день гранита поднимался теплый воздух. Идти было легко, прямой ровный путь слегка убаюкивал, успокаивал.

— Хорошая дорога,— сказал я.— Здорово строили ваши древние мастера.

— Это не древние,— отозвался Валерка.— Это, наверно, наоборот... Я смотрю на звезды, они сдвинулись так, как должны стоять в далеком будущем...

Володька мой слегка сбил шаг.

Я спросил:

— Но если сейчас... другое время, то почему все по-прежнему? Пустой остров.

— Он же далекий. Заброшенный...

— Но на планете, наверно, все не так. Ты не хочешь... в это будущее?

— Не хочу,— тихо ответил Валерка.— Я для него ничего не сделал еще...

— Дэни,— вдруг сказал Володька хмуро и незнакомо.— Если вернетесь, вы там постарайтесь, чтобы не было у вас такого будущего.

— Какого?— тихо, но с тревогой спросил вместо Валерки Братик.

— Вот такого...— Володька мотнул головой.— Зачем вам будущее с военными самолетами? Это же взлетная полоса...

Мы с полминуты шли молча, уже иначе глядя на гранитные шестиугольники. Из щелей росли кустики и трава.

— Все уже заброшено,— сказал я.

Володька все так же хмуро ответил:

— А пока не забросили, сколько было крови...

«Туп-туп, туп-туп»,— мягко стучали наши шаги, и казалось, что вся планета пуста.

Неужели все оказалось напрасным? Зря погибли барабанщики, зря дрался я с Канцлером?

— Но почему военные?— нерешительно спросил Валерка.— Может быть, просто самолеты?

Володька глотнул и сказал:

— А у меня папа был военный летчик... Он меня брал один раз на аэродром, семь лет назад. Я маленький был, но помню: кругом степь и ничего нет, только бетонная полоса, почти такая же...

А я-то думал, что все знаю про Володьку. Они с матерью про отца никогда не говорили, и я считал, что Володька всю жизнь рос без него.

— Ты никогда не рассказывал... Он в самолете погиб?

— В машине,— тихо сказал Володька.— Они ехали вдоль полосы, а на взлете взорвался истребитель. Ну и осколком в бензобак... Машина тоже взорвалась, их обоих и убило сразу, с братом...

— Брат тоже был летчик? — спросил я.

— С моим братом, с Васькой. Мы же были близнецы... Меня тогда в наказание за что-то дома оставили, а он с папой поехал...

«Туп-туп, туп-туп»,— глухо ударяли наши кеды по взлетной полосе. И беспощадно ярким светом горели звезды. Между ними то и дело вспыхивали серебряные стрелки метеоритов.

— Так вы постарайтесь...— опять сказал Володька.

— Если вернемся,— сказал штурман Дэн.

— Для этого надо вернуться, Дэни,— сказал Братик.

— Надо. А как? Между прочим, не я сломал клинок...

— Надо всем вернуться,— тихо и упрямо отозвался Володька.— Ты же не знаешь... Может быть, все сделалось не так оттого, что ты не ушел в плавание. Надо вернуться и пойти.

— Ну, придумай, как...— со сдержанной досадой откликнулся штурман Дэн.

— Я думаю,— с непонятной усмешкой сказал мой Володька.

Мы прошли уже несколько километров, а полоса не кончалась: видимо, для здешних самолетов был нужен очень длинный разбег. Что нас ждет, когда оборвется эта дорога? Самолеты в конце полосы взмывают в небо. А что будет с нами?

Я надеялся на какое-то чудо: вдруг неведомые силы пространства и времени унесут нас на дождливую улицу дачного поселка! Это было бы самое хорошее. Но за этим хорошим пришло бы и самое горькое: прощанье с Валеркой и Братиком.

— Валерка...— позвал я.

— Что?

А я просто так окликнул. Чтобы голос его услышать.

— Неужели ты знаешь, как должны стоять звезды через тысячи лет? — спросил я.

— Конечно,— немного удивленно сказал Валерка.— Любой штурман знает... Вон смотрите,

впереди двенадцать звезд, прямо перед нами. Это созвездие Краба. Раньше оно было сплюснуто, будто краб присел, а сейчас он поднялся.

В самом деле, контур созвездия напоминал громадного краба. Володька тоже это увидел:

— Смотрите, он поднял клешни!

Братик с улыбкой сказал:

— Не бойся, этот краб не кусается.

— А я и того не боялся. Только сначала...

А как вы думаете, тот краб обиделся на меня?

— Ну что ты! — сказал Братик.

— Хорошо, что не обиделся,— обрадовался Володька.

Он оторвался от нас и стал уходить вперед. Скоро он обогнал нас шагов на десять. Как белая бабочка, мелькала на его локте повязка.

— Ты почему ушел? — окликнул я.

— Не мешайте, я стихи сочиняю,— знакомым полушутливым тоном отозвался Володька.

— Самое время,— заметил Валерка.

Братик негромко рассмеялся.

А я не поверил Володьке. Догнал его.

— Володька... Ты почему никогда не говорил про отца и брата?

Он помолчал и сковано сказал:

— Ты не обижайся.

— Да что ты, я не обижаюсь. Но... почему?

— Я боялся.

— Чего?

— Ну... ты мог подумать, что я с тобой подружился, потому что мне отца не хватает. Мама так один раз сказала. А я не потому... Мне просто хорошо было, что ты такой...

— И мне тоже...— вдруг сказал сзади Братик.

У меня даже в горле заскребло.

Володька быстро глянул на меня сбоку и прошептал:

— В прошлом году, помнишь, ты мне сказал... что, если чего-нибудь сильно захотеть, обязательно добьешься... Мы тогда еще купаться шли, помнишь?

Я кивнул, я помнил.

— Ну вот... А я чепуху ответил. Про то, что муху в мыльный пузырь не загонишь... Я глупый был, не сердись...

— Да я и тогда не сердился! Почему ты это вспомнил?

Володька со вздохом сказал непонятно:

— Потому что полоса кончилась.

Полоса неожиданно оборвалась, и ничего нового не было впереди. Все те же кусты, камни да трава. Но на последней плите, на самом ее краю — то ли как награда за наш долгий путь, то ли как насмешка — светился голубым огоньком шарик вечного жемчуга.

Столько всего случилось перед этим, что мы сейчас даже не удивились. Мы сели на корточки, и я взял шарик в ладонь. Он был теплый, почти горячий, словно совсем недавно упал с неба.

— Это наша? Или это другая жемчужина? — спросил Братик.

— Неважно, — задумчиво сказал Володька. — Раз она есть, мы должны сделать, что хотели.

— У нас нет огня, — возразил Валерка.

— Столько звезд, и нет огня? — усмехнулся Володька.

— При чем здесь звезды? — спросил я.

— Потому что жемчужина — тоже звезда... Только нужен лук и стрела. Звезды надо зажигать на высоте.

Братик молча побежал к темным кустам. Он все понимал быстрее нас. Мы услышали треск и шелест. Через минуту Братик вернулся, принес длинный сук и прямую, как тростинка, ветку.

— То, что надо, — заметил Володька.

Мы с Валеркой не расспрашивали и не мешали. Володька твердо знал, что делает. Может быть, сейчас была у власти его собственная Сказка.

Он зубами расщепил ветку-стрелу, вложил в развилку жемчужину. Зубами же сделал на другом конце зарубку. Деловито сплюнул и сказал:

— Тетива нужна.

— А веревочка? — вспомнил я. — Она где?

Володька ответил не сразу, будто удивился моим словам. Потом досадливо хмыкнул:

— Веребочка... Там же, где штормовка и куртка. И якорь и маяк. Где они?.. Веребочку вспомнили. За нее-то никто не заругает, а за штормовку от мамы влетит.

«От мамы влетит!» Как будто до мамы всего полчаса на электричке.

Все еще ворча, Володька разматал на локте повязку, скрутил жгутом. Они с Братиком согнули сук и привязали жгут к его концам. Володька наложил на тетиву стрелу с жемчугом.

— Ну, загадай, чтобы выдержала, — шепотом сказал он Братiku. Тот кивнул.

— Выдержит, — успокоил я. — Вон какой жгут.

Братик и Володька неожиданно фыркнули. Володька заметил с сожалением:

— Это у него от взрослых времен. Взрослые чудовищно бестолковы.

Я, честное слово, чуть его не треснул! Ну, что это такое? Дома насмешничает — это пускай, но тут... Или совсем не понимает, где мы?

Но Володька уже стал серьезным.

— Только не смейтесь, — попросил он.

Как будто нам было до смеха!

Володька медленно поднял и плавно растянул свой лук.

— Что, Васек? Стреляем?

— Давай! — звонко сказал Братик.

Хлопнула тетива. Мы взглянули вверх, но, конечно, не увидели стрелу. А Володька в это время проговорил торопливо, но отчетливо:

Житель моря, старый краб,

У тебя есть звездный брат.

Попроси его помочь

Разорвать слепую ночь!

Он поспешно передохнул, словно собираясь говорить дальше, и в эту секунду по глазам ударила вспышка.

Золотой шар загорелся над нами солнечным светом. Я зажмурился и услышал, как рядом смеются Братик и Володька. Смеются, будто не грозят нам больше никакие беды.

Я открыл глаза и увидел, что шар уменьшается. Но он не угасал, он уходил в высоту. Быстро улетал к звездам и скоро сам стал, как яркая звезда. А еще через несколько мгновений затерялся среди звездных россыпей, которые стали бледнеть на странно посветлевшем небе.

Володька тихо сказал:

— Улетела наша звездочка, не разглядеть.

— В свои приборы я бы разглядел, — откликнулся Валерка.

— Ну, значит, разглядишь, — неожиданно весело пообещал Володька.

И только тогда я сообразил, что нет ни острова, ни взлетной полосы. Мы стояли среди камней над обрывом, недалеко от места, где я сорвался. Небо светлым было от луны. Она по-прежнему освещала белые домики Гавани, а у набережной я различил Валеркин корабль.

13

Братик сказал Валерке:

— Видишь, Дэни, мы дома. А ты не верил.

— И сейчас почти не верю, — ответил Валерка. И не обрадованно даже ответил, а скорее утомленно. — Как это случилось, не пойму.

— Просто сказали вовремя нужные слова, — серьезно объяснил мой Володька.

— Ну, может быть, — рассеянно проговорил Валерка. Это он Володьке сказал, а смотрел на меня. Внимательно и неотрывно.

— Ты что, Валерка?

— Подожди, не двигайся, — попросил он.

— Почему?

— Ну, пожалуйста... Я хочу запомнить тебя таким.

Вот оно что. Уходит сказка.

— Значит, конец? — прошептал я.

— Да, — беззвучно сказал он. И спросил громче: — Хочешь взять что-нибудь на память?

— А можно? Не исчезнет при переходе?

Он чуть-чуть улыбнулся:

— Если будешь держать в руках. Держи крепче — пронесешь.

Я торопливо скинул через голову матроску и свернул в тугую узелок.

Валерка кивнул. Посмотрел на луну, на море. Виногато сказал:

— Теперь надо идти. — И он шагнул к тропинке.

— Дэни, — окликнул я. — Постой... Мы все

сделали, как надо? Не будем ни о чем жалеть?

— Все,— сказал он.— Все, что могли за один день. Звезда горит над островом, она лучше маяка. Штурманы не будут больше огибать Каменный Барьер... А остальное... Что ж, будем делать каждый у себя. Ты же знаешь, дел хватит на всю жизнь.

— Тогда идем,— сказал я.

Несколько секунд я чувствовал, как мне гладит голые плечи ласковый ветер Валеркиной планеты. А потом ощутил на себе плащ, сапоги и всю прежнюю амуницию. И осталась у меня от детства только свернутая в узелок матроска. Я вздохнул и сунул ее в карман плаща.

Мы подошли к началу улицы, где стояли глухие длинные дома. Остановились.

— Все,— сказал Валерка.

Значит, в самом деле уже все? Насовсем?

Василек растерянно как-то посмотрел на старшего брата, на меня. Подошел ко мне и неловко прижался к моему рукаву. Потом взял за обе руки Володьку и отвел в сторону.

Я взглянул на Валерку.

— Что ж, прощай,— тихо сказал Валерка. Прикусил нижнюю губу и посмотрел мне в лицо. Тоска была у него в глазах.

— Прощай,— с трудом сказал я.

Он шагнул вплотную и лбом прислонился к моему плечу. Я неловко обнял его.

Прощай, Валерка. Теперь в самом деле прощай. Видимо, законы Сказки нерушимы. Три раза встречаются люди, и третья встреча — последняя.

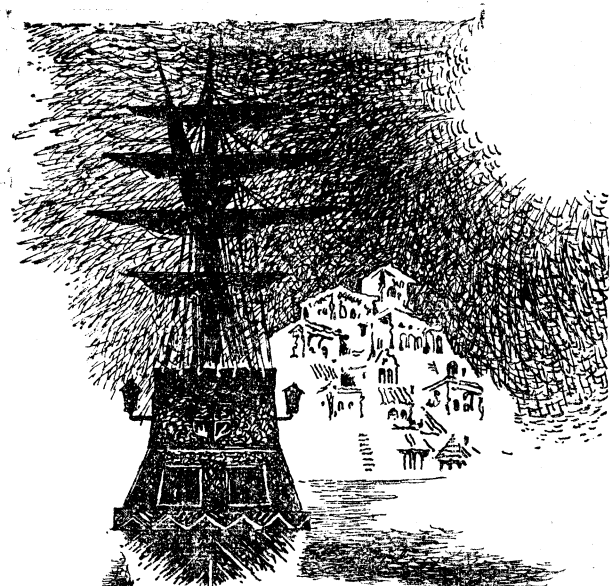
Я глянул поверх Валеркиного плеча и увидел Братика и Володьку. Они держали друг друга за локти и молчали. Потом разом опустили руки и стали медленно отступать друг от друга. Валерка словно почувствовал это. Оторвался от меня и тоже стал отходить. Спинай вперед. И как-то само собой получилось, что Братик оказался с ним, а Володька со мной.

И мы расходились, расходились, не отрывая глаз друг от друга...

Потом, как при первом расставании в Северо-Подольске, почувствовал я, что Валерку и Братика отделила от меня прозрачная, но глухая стена.

Я смотрел на уходящих друзей не отрываясь. За ними сияло лунное пространство. Валерка теперь казался черным тонким силуэтом. А Братик вдруг попал в поток лучей и словно вспыхнул серебристым светом: в его растрепанных волосах, в каждой шелковинке его рубашки, на незаметных волосках рук и ног загорелись голубоватые искры.словно кто-то кинул в него горстями светящуюся пыль...

Чтобы так и запомнить все, я закрыл на секунду глаза. А когда открыл, Валерки и Братика



не было. Луна катилась за дождевые облака, и голубой мир Валеркиной планеты угасал.

— Пойдем,— прошептал Володька.

Он дал мне теплую свою ладошку, и мы пошли, не оглядываясь. Сначала по улице. Потом мимо плетня с железным шиповником, мимо темных дач и мокрых берез. К станции.

Дождь перестал, но воздух был зябкий. Я накинул на Володьку край плаща.

На платформе все так же одиноко горел фонарь. Я посмотрел на Володьку. У него было непонятное лицо: хмурое, но не очень печальное. Он словно тревожился о чем-то и чего-то ждал. А может быть, просто крепился, чтобы не показать печаль. Он глянул на меня снизу вверх, и брови у него разошлись.

— Ну, ты чего? Ты держись, ладно?

Я заставил себя улыбнуться и кивнул.

...Потом был вагон электрички с его яркими лампами и лаково-черной ночью за окном. Тоска не отпускала меня. И под железное грохотанье колес я думал, что все это несправедливо. Нельзя, чтобы люди так намертво расставались. Если это было по правде, если есть она, Валеркина планета, то должен же быть способ не терять друг друга! А если это сказка, на кой черт она нужна, такая жестокая!

И тут я понял, что вру сам себе. Эта сказка была нужна. Разве лучше, если бы я не встретил Валерку и Братика совсем? Нет! Несмотря на всю горечь и тоску, я счастлив. Потому что Валерка и Братик есть. Все равно есть!

Тоска пройдет, сказал я себе, а память останется. Может быть, с грустью, но уже без боли мы будем вспоминать все, что случилось. С печалью и с радостью одновременно.

Володька приткнулся у меня под боком. Вдоль вагона дуло. Володька свернулся на сиденье калачиком, натянул на ноги полу моего плаща и тихо дышал. Мне показалось, что он дремлет, и я хотел укрыть его получше. Но когда я посмотрел на него, увидел тревожно распахнутые глаза.

...Домой мы добрались на случайном такси. Была глубокая ночь.

— У меня переночуешь? — спросил я.

Володька покачал головой:

— Дома.

Я понял его. Ему нужно было остаться одному со своей печалью и тревогой. Чтобы успокоилась душа. Может быть, ему захочется плакать, а это лучше делать, когда один... Но меня по-прежнему беспокоило его лицо. В глазах у Володьки была не только грусть, а еще какое-то странное ожидание.

— Володька... Ты боишься чего-то?

— Ну что ты... — сказал он серьезно. Сжал мой локоть и ушел к себе.

Я постоял перед закрывшейся дверью. Потом подумал: мало ли какие глаза могут быть у че-

ловека, который проник в неведомый мир, нашел и потерял друга...

ЭПИЛОГ

До утра мне снился океан: его ровный накат на плоские пески Желтого острова. Сначала были синие волны под ярким солнцем, затем они стали янтарно-прозрачными под ясным закатом, а дальше — темными, с россыпью бликов от яркой луны. У раскиданных по берегу камней волны разбивались и разбрасывали брызги.

Вдруг эти брызги стали стекленеть на лету и со звоном ударяться в распахнутые створки моего окна.

Я открыл глаза и успел заметить, как вверх ускользнула сверкающая стеклянная пробка. А может быть, мне показалось...

Было ясное утро. Голубело небо, ярко желтел под солнцем угол соседнего дома. Качал листьями куст рябины, и на его верхушке краснели кисти ягод (внизу их уже оборвали).

Сразу стало понятно, что последние дни августа решили подарить нам тепло: за окном была не осень, как вчера, а яркое позднее лето. Утро в окне было, как солнечный пейзаж в раме.

И вдруг сверху, из-за оконного карниза, медленно опустились и закачались на фоне этого пейзажа четыре ноги.

Это были абсолютно одинаковые ноги. По крайней мере, попарно одинаковые. В одинаково потрепанных кедах, зашнурованных одним и тем же лентяйским способом — лишь до половины. С одинаковым загаром и царапинами...

Будь одна пара ног, я сразу бы понял, что спускается Володька. Я даже помигал: не двоится ли в глазах? Нет. Но в чем же дело?

Володька всегда ревниво охранял свое право на «парашют» (не потому, что жадный, а потому, что «парашют» приземлялся прямо под наше с Варей окно). Пользоваться не позволял никому, а катал иногда только Женьку.

Значит, Женька неожиданно вернулась?

Но она, хотя и бегала порой в мальчишеских кедах, шнуровала их аккуратно.

Тогда...

Вот еще в чем одинаковость! На всех четырех кедах серебристо блестели редкие рыбки чешуйки.

Вздрыгнул я и хотел вскочить, но тут же понял: сон это. И, печально улыбнувшись такому сну, стал смотреть спокойнее.

Мой взгляд, направленный в окно, скользил над чем-то белым и синим. Я на миг опустил глаза и увидел на спинке стула маленькую матроску. Я же сам вчера вынул ее из кармана плаща!

Сердце ухнуло куда-то, и я рванулся к окну. Четыре ноги плавно опустились, и в оконном квадрате появилась шина от грузовика. В ней,

как в раме круглого портрета, сидели, прижавшись плечами, Володька и Братик.

Володька улыбался широко и жизнерадостно, а Братик робко, как гость, явившийся без приглашения.

В этот миг я словно бы разделился на двух человек. Внутри меня ожил двенадцатилетний Сережка, который завопил от восторга и потянулся навстречу друзьям. А взрослый Сергей Витальевич (который был снаружи) повел себя по-идиотски. Видимо, от полного ошеломления он сказал голосом строгого завуча:

— Как это понимать?

Василек нерешительно посмотрел на Володьку и прошептал:

— Я же говорил: попадет.

Володька пренебрежительно двинул плечом. Это короткое шевеление заменило длинную фразу: «Не видишь разве, что он просто так, для порядка, потому что считает себя очень большим и серьезным?»

А мне Володька деловито объяснил:

— Понимаешь, мы решили: пускай Васек проживет у нас, пока штурман плавает...

Мальчишка внутри у меня заплясал, но я опять подумал: «Сон это...» И спросил подозрительно:

— А Валерка знает? Он согласен?

Братик тихо сказал:

— Он ведь уже уплыл...

А Володька добавил:

— Мы ему не говорили, потому что не знали: получится ли у нас... Да ничего, мы пошлем ему говорящую раковину.

Кажется, вид у меня оставался недоуменным и озабоченным, и Володька продолжил:

— А чего? С мамой я договорюсь. Учебники будут одни на двоих. Школьные формы у меня две — новая и старая. Я возьму старые штаны и новую куртку, а Васек — наоборот. Или я наоборот...

— Вы умные люди... или наоборот? — растерянно сказал я. — Кто запишет в школу человека без документов?

Володька глянул на меня, как на занудного спорщика.

— Ты же сам говорил, что у тебя в гороно все начальство знакомое.

Он был прав. И маленький Сережка, танцевавший внутри меня, хотел уже пройтись колесом. Но вдруг и его и меня словно обдало холодом! Потому что не могло быть того, что сейчас было!

— Слушайте, а это... планеты? Они же расходятся!

Наверно, у меня было очень испуганное лицо. Василек опять улыбнулся виновато, а Володька снисходительно сообщил:

— Да никуда они не разойдутся. Я же не отвязал веревочку.

— Что? — по инерции спросил я и посмотрел вверх. Шина висела на размочаленном канате.

Володька вздохнул и объяснил:

— Так уж получилось. Сперва я ее к якорю... А когда вышел из лабиринта на нашей стороне, тоже привязал ее. Ну, чтобы на обратном пути не сматывать. Мотать-то долго, а по натянутой я обратно, как трамвай по проводу — ж-ж-ж...

— А к чему привязал? — глупо спросил я.

Он сказал с невинной улыбкой:

— К шиповнику...

Все стало ясно.

Якорь, намертво вросший в планету, и железный шиповник с корнями до центра Земли. И между ними — белый шнурок с хитрыми Володькиными узелками. Двадцатиметровая веревочка — бесконечная, как вселенная, и вечная, как пламя нашего жемчуга. Она прошла завихрения загадочных миров, тонкая, слабенькая на вид. Как насмешка над всеми законами пространства и времени... Выдержит? Не поддастся чудовищной силе разбегающихся звезд?

«Выдержит, — понял я. — Ведь у нас теперь есть общая звезда. Мы сами зажгли ее над пустынным островом. И поэтому веревочка связала наши планеты».

Мой маленький Сережка с радостным воем встал на голову. А дурак Сергей Витальевич поморгал и все же произнес нерешительно:

— Заговорщики... Вам не кажется, что это космическое хулиганство?

— Ой уж... — сказал Братик негромко, но с явно Володькиной интонацией.

А Володька насмешливо спросил:

— Что, космическое хулиганство? Веревочка? Скажи кому — засмеются.

Тогда засмеялся я. Засмеялся, отбросив сомнения и страхи и поверив, наконец, что это не сон. Засмеялся, до конца отдавшись радости.

— Лезьте сюда, обормоты.

Они радостно качнули шину, забросили на подоконник исцарапанные шиповником ноги, а я ухватил их за рубашки...

В это время со двора донесся оглушительный вой. Какая-то жуткая смесь аварийной сирены и коллективного рева в детских яслях. Мы вскочили, как от взрыва, и разом глянули вниз.

Под нашим окном, у стены, гневно распушив хвосты и вздыбив шерсть на выгнутых спинах, мерили друг друга негодующими взглядами два апельсиновых кота. Митька и Рыжик. Они утрашающе орали, готовясь сцепиться в смертельном поединке.

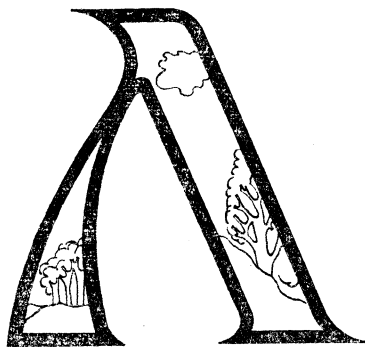
...Впрочем, к середине дня коты подружились и вдвоем отлупили соседского самонадеянного дога по имени Помпей.

ЯЗЫК ЗЕМЛИ

Краткий словарь географических названий Урала

Александр
МАТВЕЕВ

Оформление
З. Баженовой



ЛАБИТНАНГИ, железнодорожная станция, пристань и город (с 1975 года) на левом берегу Оби, напротив города Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ). Из хантыйского *лапыт* — «семь» и *нангк* — «лиственница», то есть «Семь лиственниц».

ЛЕВШИНО, железнодорожная станция, порт на Каме в устье Чусовой и поселок, в настоящее время слившийся с городом Пермь. Здесь в конце XVI века жил перевозчик-левша, у которого, по преданию, не было правой руки. Отсюда — и название.

ЛИКИНО, поселок в Гаринском районе Свердловской области на правом берегу Лозьвы в устье речки Ликиной. Видимо, по названию реки, образованному от личного имени Лика, уменьшительного от Поликарп. Источником могли послужить и другие имена: Гликерий и Феликс, Поликарпия и Еликонида. И. Лепехин в своем дневнике упоминает село Ликино под Владимиром.

ЛОБВА, левый приток Ляли и на нем одноименный рабочий поселок Новолялинского района Свердловской области. Очевидно, из Лопва. Для сравнения приведем название реки Лопва в Коми-Пермяцком автономном округе (правый приток Косы). Топоним состоит из коми-пермяцких слов *лсп* — «древесный клам, сор в реке» и *ва* — «вода».

К этой же группе названий, вероятно, относится Лопья (левый приток Южной Кельтмы в Коми-Пермяцком автономном округе), где окончание *я* — русская переработка коми *ю* — «река» (сравните Лопью, левый приток Вычегды в Коми АССР).

ЛОЗЬВА, река на севере Свердловской области, левая составляющая Тавды. В памятниках письменности упоминается с конца XVI века в форме Лозва, такое название сохранилось вплоть до начала текущего столетия.

Уже давно объясняют из коми-пермяцких слов *лоз* — «синий», «голубой» и *ва* — «вода», то есть — «Синяя вода» или «Голубая вода». В верхнем течении Лозьва — типичная горная река с чистой, прозрачной водой, что и позволяет понять мотив наименования. Все осложняет мансийское название Лозьвы — Лусум, или Луссум, которое невозможно оторвать от коми-пермяцкого слова.

Сами манси не могут перевести это название. Кроме того, есть еще Висум (Ушма) и Томпусум (Северная Тошемка) — названия притоков Лозьвы, для которых в мансийском языке тоже нет убедительного толкования.

Возможно, что все эти названия — домансийские, и тогда коми-пермяцкое слово надо считать народно-этимологическим приспособлением непонятого мансийского Лусум (Луссум) к коми-пермяцкому языку.

Есть, однако, и другой путь: мансийское *лус* — «небольшое травянистое озерцо среди болота», *ум* — словообразовательный суффикс прилагательных. Может быть, манси забыли первоначальный смысл названия? Сила этой версии в том, что Лозьва берет начало из небольшого озерка Лусум-таях-тур — «Озеро в вершине Лозьвы».

ЛОПСИЯ, левый приток Северной Сосьвы (Ханты-Мансийский автономный округ). Из мансийского *лопси* — «лесной завал на реке» и *я* — «река».

ЛУЗА, левый приток Кожвы, впадающий в Печору с левой же сто-



Начало см. в № 1—3, 5—8.

роны (Коми АССР). Название явно связано с русским Севером, где есть большая река Луза, приток Юга, которая протекает по Коми АССР, Кировской и Вологодской областям, и еще одна река Луза на северо-западе Архангельской области.

В саамском языке *лусс* (вторая основа *луз*) — «семга». Известно, что в притоках Печоры, Северной Двины, Онеги находятся нерестилища этой рыбы.

Возможно, сюда относится и Луссум — Лозьва (если оно домансийское), ведь один и тот же корень в разных языках мог обозначать различные виды лосося, например нельму, которая встречается в бассейне Тавды.



ЛУНЬЕВКА, рабочий поселок в Пермской области близ города Александровска. Ранее Луньевские, или Луньвенские, Копи. Угольное месторождение здесь было открыто в начале XIX века.

По названию реки Луньва (бассейн Яйвы), где коми-пермяцкое *лун* — «день», «полдень», «юг», *ва* — «вода», то есть «Полдневая (Южная) вода». Названия такого рода в коми топонимии обычны, сравните в Коми АССР Лунвож — «Южный приток».

ЛЫСЬВА, три реки в Пермской области (левый приток Чусовой, правый приток Камы, правый приток Обвы). На чусовской Лысьве в 1785 году был основан Лысьвенский чугуноплавильный и железодельный завод. В 1926 году поселок при заводе был преобразован в город Лысьву.

В памятниках письменности название упоминается, начиная с XVI века, обычно в форме *Лысва*. В коми-пермяцком языке *лыс* — «хвоя», «хвойный», *ва* — «вода», следовательно, Лысва — «Хвойная вода», то есть «Река, протекающая по хвойным лесам». Есть река Лысва и в Коми АССР.

ЛЯГА, правый приток реки Ирбит (Свердловская область). От широко распространенного на Урале русского диалектного слова *ляга* — «низкое сырое место». В Коми АССР есть река Большая Ляга (правый приток Печоры ниже устья Илыча), а также правые притоки Илыча Ыдждид-Ляга и Ичет-Ляга («Большая Ляга» и «Малая Ляга»). Все эти названия имеют в основе коми слово *ляга* — «лог», «ложбина», заимствованное из севернорусских говоров.

ЛЯЛЯ, правый приток Сосьвы (Свердловская область). На реке поселок (раньше село) Старая Ляля и город Новая Ляля.

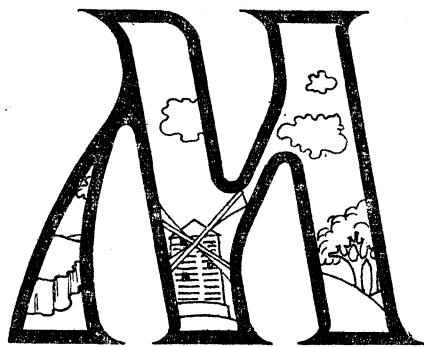
В мансийском языке есть слова *ляль* — «противник», «враг», *ляльт* — «навстречу», «напротив». В родственном ему хантыйском языке *ляль* (в некоторых диалектах *тяль*) — «война», «войско», «враг».

Мансийское *я* — «река», поэтому структура названия понятна, но смысл его («Река врагов?») загадочен.

ЛЯПИН, левый приток Северной Сосьвы (Ханты-Мансийский автономный округ). Река эта по-мансийски называется Сакв, по-комизырянски — Сыгва. Русские раньше наряду с Ляпина и Ляпин тоже называли ее Сыгва. В «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера прямо написано: «оттуда на Сыгву или Ляпину».

Название реки возникло путем переноса по смежности. Ляпином назывался городок обских угров, который находился на этой реке и был взят русскими в 1499 году во время знаменитого похода воевод Семена Курбского и Петра Ушатого за Урал.

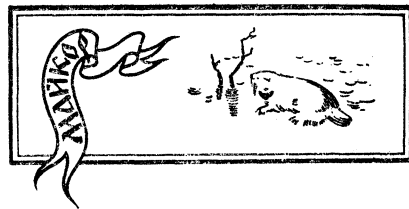
По Миллеру река Ляпина называлась по-вогульски Лопингойм, а городок Ляпин — Лопынг-уш. Мансийское *ус* — «город», *сойм* — «ручей», а *лопынг* — «торфянистый» (В. Н. Чернецов). Русские вполне могли превратить Лопынг в Ляпин, вопрос только в том, насколько точны данные Миллера. Интересно, что Е. И. Ромбандеева мансийское название одного из поселений на реке Ляпин — Лопмус (Ломбовож) переводит как «Город на речке Лопынг».



МАГНИТОГОРСК, город на восточном склоне Южного Урала на реке Урал (Челябинская область). Возник в 1929—1931 годах при строительстве Магнитогорского металлургического комбината. Город и комбинат названы по горе Магнитной, которая содержит богатые залежи железной руды — магнитного железняка.

На Урале есть еще гора Магнитная (иначе называется Высокой) близ

Нижнего Тагила и горы Магнитные между городами Ревда и Первоуральск (Свердловская область), по которым назван поселок Магнитка в черте города Первоуральска.



МАЙКОР, рабочий поселок на правом берегу Камского водохранилища в Пермской области. Населенный пункт с этим названием упоминается в переписной книге М. Кайсарова 1623—1624 годов.

А. С. Кривошекова-Гантман считает, что Май — древнепермское личное имя, связанное с нарицательным *мой* — «бобр». Поскольку *кор* — «городок», можно перевести «Городок Мая», или «Бобровый город». Трудно только объяснить, как Майкор превратился в Майкор.

Есть и другой путь. Недалеко от Майкора в Каму впадают реки Северный и Полуденный Кондас. Название Кондас, возможно, заимствовано из тюркских источников, где тоже имело значение «бобр» (татарское *кондыз*). Это как будто бы подтверждает, что основа *май* может быть связана с коми-пермяцким *мой* — «бобр». Но не скрывается ли в основе *май* тюркское слово? Например, *май* — «жир», «сало», а переносно в некоторых тюркских языках, в частности в казахском, — «священный».

МАНАРАГА, одна из самых высоких гор Приполярного Урала в верховьях реки Косью (1820 метров). Объяснение названия находим в книге Э. Гофмана «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой»: «Извилистая долина открыла перед нами боковой вид на Манарагу, и тогда ее гвоздеобразный шпик явился необыкновенно зубчатой вершиной. По этой вершине гора получила свое самоедское имя, которое по истолкованию нашего переводчика значит «Медвежья лапа». В книге есть и рисунок гребня Манараги, действительно напоминающего лапу медведя.

Перевод почти точен: *ненецкое мана* — «передняя лапа медведя», *раха* — суффикс уподобления, который лучше всего переводить словом «подобный», следовательно, Манарага — «Подобная медвежьей лапе».

МАНЬЯ, название многих рек в предгорьях Северного Зауралья (Тюменская область). Наиболее известен левый приток Северной Сосьвы в ее верхнем течении (в устье посе-

лок геологов Усть-Манья) и правый приток Ляпина. Маленьких речек с этим названием множество: только в Лозьву на территории Свердловской области впадает три Маньи.

Мансийское *мань* — «малый», я — «река», значит, Манья — «Малая река».

В низовьях Северной Сосьвы около Игрима есть большое озеро Маньтур — «Малое озеро». Таким образом, среди малых рек и озер есть и значительные — все познается в сравнении.

МАСИМ (по-башкирски Мясем), высокая гора в южной Башкирии (1039 метров) в верхнем течении Белой.

В башкирском народном эпосе фигурирует Мясемхан, или Мясембай, персонаж обычно отрицательный, злодей и угнетатель подданных. Поскольку ставка этого феодала находилась в верхнем течении Белой, о чем говорится в предании «Кара Юрга», есть основания связывать название горы Масим с антропонимом Мясемхан (Мясембай).

МАХНЕВО, рабочий поселок в Алапаевском районе Свердловской области на реке Тагил, бывший районный центр. Есть еще деревня Махнева в Богдановичском районе Свердловской области и деревня Махнева в Соликамском районе Пермской области.

От производной формы личного имени Матвей — Махно. Такие формы есть и от других имен: Григорий — Грихно, Александр — Сахно, Юрий — Юхно, Яков — Яхно и т. п.

МАЯК, гора около Оренбурга, **МАЯКСКАЯ** (МАЯКИ), гора на тракте Свердловск — Красноуфимск западнее Бисерти, **МАЯЧНАЯ**, одна из вершин горы Магнитной у Магнитогорска, железнодорожная станция **МАЯЧНАЯ** на дороге Оренбург — Соль-Илецк, рабочий поселок **МАЯЧНЫЙ** около города Кумертау в Башкирской АССР и многие другие подобные названия.

Всем хорошо известно, что маяки указывают путь судам, но откуда маяки в уральских лесах и степях? Оказывается, маяками издавна называют и специально поставленные знаки (шест, столб, земляная насыпь, куча камней) и сторожевые вышки, используемые для самых разных целей, причем не только на берегу моря, но и вдали от него. В последнее время маяками иногда называют и триангуляционные знаки. Наконец, появились названия, связанные с революционной символикой.

Потому и много таких топонимов в наших краях.

МАЯН, озеро на северо-востоке Челябинской области севернее Кунашака. В газете «Каменский рабочий»

за 24 мая 1957 года А. Черноскутов рассказывает башкирскую легенду, записанную им в деревне Серкино Кунашакского района у старшей жительницы Н. Г. Иркабаевой о красавице Маян, или Маянсылу, дочери Кусярхана, которая трагически погибла вместе со своим возлюбленным Кудый-курпесом. Они были похоронены на большом острове, а над могилой был насыпан курган. А Черноскутов добавляет, что остров и курган действительно существуют.

Скорее всего, в основе легенды — попытка объяснить непонятное название озера, то есть легенда — обычный топонимический миф.

Само же название озера может иметь очень прозаический смысл: башкиро-татарское *май* — «жир», «сало», *ан* — суффикс существительного. Если это предположение верно, то название указывает, что здесь некогда добывали много рыбы или дичи.

МЕДНОГОРСК, город в Оренбургской области в отрогах Губерлинских гор. Возник в 1939 году, когда здесь началась разработка меднорудного месторождения и строительство медносерного комбината.

МЕНДЕЛЕЕВО, станция и поселок в Пермской области на железной дороге Пермь — Киров. В честь великого русского ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева (1834—1907), который в 1899 году приехал на Урал для изучения его производительных сил.

МИАСС, правый приток Исети. Протекает по Челябинской и Курганской областям. По реке назван город **МИАСС** в Челябинской области, село **МИАССКОЕ** к востоку от Челябинска, озера Большое и Малое **МИАССОВО** в верховьях реки Миасс.

В 1773 году заводчику Лугинину было разрешено строить новый медеплавильный завод на реке Миасс близ открытых здесь медных рудников. Завод, построенный в 1777 году, назвали Петропавловско-Миасским, затем он стал именоваться просто Миасским заводом. В XIX веке здесь уже был крупный населенный пункт, развитию которого немало способствовало открытие крупных месторождений золота. Вскоре после революции (в 1926 году) Миасский завод стал городом Миассом.

Название реки Миасс трудно для объяснения. В. В. Морозов в своей книге «Город в золотой долине» собрал разные версии происхождения этого топонима. Чего здесь только нет! И мансийское *ми-яс* — «глубокое водное русло реки» и башкирское *ми* — «возьми» в сочетании с мансийским *ас* — «вода», то есть «возьми воду». Все это типичные кабинетные этимологии, далекие от правды.

Несколько лучше тюркская версия: *ми* — «топь», «топкое место», *асс* (?) — уменьшительный суффикс, то есть «Малая топь». Но и с этой этимологией не все в порядке: во-первых, *ми* в смысле «топкое место» характерно для языков среднеазиатских тюрков — казахов и киргизов, а татарское *ми*, башкирское *мейе* — «мозг»; во-вторых, долина Миасса совсем не настолько заболочена, чтобы это стало характерным признаком. И все-таки тюркская версия лучше, тем более что по-башкирски Миасс — Мейяс (сравните мейе).

Можно надеяться, что новые материалы позволят разгадать тайну этого слова.

МИНЬЯР, город на западе Челябинской области у впадения реки Миньяр в реку Сим. Поселение возникло во второй половине XVIII века, городом Миньяр стал в 1943 году.

Название реки можно разъяснить так: *мин* — «тысяча» (татаро-башкирское *мен*, казахское *мынг*, чувашское *мин*, древнетюркское *минг*), *яр* — «крутой берег», «обрыв» (татаро-башкирское). Следовательно, «Тысяча обрывов». Очевидцы утверждают, что эта красивая метафора-гипербола в своей основе верна: Миньяр течет среди крутых берегов и скал.

Метафоры такого рода в тюркской топонимии встречаются часто, например, в Казахстане: местность Мынбулак — «Тысяча ручьев», населенный пункт и группа озер в Павлодарской области Мынколь — «Тысяча озер», урочище в Гурьевской области Мынорпа — «Тысяча колодцев», населенный пункт в Кызыл-Ординской области Мыншоки — «Тысяча вершин».

МИХАЙЛОВСК, город в Нижнесергинском районе Свердловской области (железнодорожная станция на дороге Бакал — Чусовая называется Михайловский завод). Расположен на реке Сарге близ ее впадения в Уфу. Михайловский железодобывающий завод построен в 1805—1808 годах московским купцом и промышленником Михаилом Константиновичем Губиным. Как завод, так и поселок были названы по имени владельца — Михайловский завод. В 1961 году поселок Михайловский завод был переименован в город Михайловск.

МОЙВА (БОЛЬШАЯ МОЙВА), левый приток камской Вишеры, устье которого у северного конца хребта Тулымский Камень. В Большую Мойву впадает Малая Мойва. Из коми языка, где *мой* — «обр», *ва* — «вода», то есть «Бобровая вода». По-мансийски эта река называется Муй. Мансийское название вторично.



ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

**Леонид
БОГОЯВЛЕНСКИЙ**

*Фото
А. Лыскова*



Когда я начинал разговор о животных в городе, мой собеседник иронически улыбался, потом восклицал: «Какие тут животные! Разве что кошки, собаки да голуби». Я дополнял осторожно: воробьи... Он усмехался: ну, еще галки, вороны. Потом оба, в один голос: ласточки, стрижи, бабочки, жуки, пауки. А в городском пруду водится рыба, а в заводах — лягушки, тритоны... Сохранились кое-где и лошади. Малыши все глаза проглядят, когда рядом с «икарусками» и «жигулями» цокает по асфальту гривастый Серко или Орлик. Забредают иногда на городские улицы лоси, рыси, зайцы, лисицы... Город-то, оказывается, не так уж и беден животными.

Известно: животное обитает лишь в «своей» среде. Дождевым червям, например, нужна влажная, рыхлая почва, богатая перегноем. Поэтому мы найдем их и в поле, и на грядке, и на цветочной клумбе

в самом центре города. В сухой летний день луг переполнен звоном и стрекотом кузнечиков и кобылок. Этот же звон и стрекот мы слышим и в городе: на газоне с высоким травостоем, на клочке луговинки, затерявшейся в углу школьного двора или площадки детсада, на любом городском пустыре. Тут же перелезают со стебелька на стебелек и крапивница, и лимонница, и капустница, ползают божьи коровки, скачут по камешкам, покачивая хвостиком, белые трясогузки. А если на газоне растет густая жимолость, акация или смородина, то мы услышим и голос пеночки, славки, горихвостки или другой певчей птицы. Зимой в Свердловске появляются северные гости — свиристели. Ночуют они в окрестных лесах, а днем кормятся на городских улицах, там, где растет боярышник, рябина, яблоньки-дички. Не пугают птиц ни пешеходы, ни грохот машин. В конце

зимы видел я в центре Свердловска также таежных птиц — шуров. Голуб — не тетка, и щуры прилетели в город. Склеивали с веток мерзлые яблочки, отгоняя свиристелей.

Зоологи давно отметили продвижение сусликов на север, в зону лесов. Из степей Южного Урала и Зауралья пришли они и в столицу Урала. Весной встретился я с этим зверьком в городе. Он вырыл нору под сосновым пеньком, в каком-то метре от колеи дороги, по которой автомобили везли на стройку грузы. Долго наблюдал я, как суслик, поднявшись столбиком, быстро-быстро грызет сорванные травинки, поддерживая их лапками, как убегаёт в нору, когда проходит машина, и опять появляется. С любопытством разглядывал меня и суслик и настороженно следил также за вороной в сосновой кроне.

Как мы видим, животные проникают в город, расселяясь, расширяя границы ареала (области распространения) или в поисках пищи. Нет, город сам по себе, как скопление зданий, не является преградой для расселения в нем животных, а преграда — отношение горожан к фауне...

Вечерело. Над Карасиками растекалась прохлада. Белые струйки тумана, смешанные с голубоватым дымком от костров садоводов, сжигающих сушняк, тянулись сквозь заросли рогоза, к воде. В саду пел соловей. В камышах надрывно и страстно скрипел коростель. Частыми высидами перекликался с ним куличок-погоныш. В воздухе молоденьким барашком блял бекас. А по всему птичьему разноголосью, по всей округе перекатывались гортанные, клокочущие звуки. Откуда летели они — из воды, с берегов, с кустов или деревьев? А это пели озерные лягушки! Удивительно было то, что вечерний концерт звенел не в лесу, а в городе.

Когда-то Карасики были далеко от города. Лет двадцать пять назад дома подступили к ним вплотную, но болото оставалось еще непроходимым. На чистой глубокой воде плавали желтые лилии, в камышах гнездились утки, у берега селилась ондатра. Потом местность благоустроили. По краям болота осушили,

высадив тополя, заложили сады, провели дороги. И Карасики превратились в уютный уголок природы.

Весною мой трехлетний внук позвал меня на Карасики послушать хор лягушек. К великому огорчению мы их не услышали: на месте болотца возвышалась гора мусора. Город уже полукольцом охватил Карасики. Решили и на болоте поставить дома, а пока его завалили хламом. Уголок живой природы погиб. Город приобрел еще какой-то десяток гектаров земли. А утратил? Место, где уставший человек мог бы облегченно вздохнуть, любясь цветущей вербой, наполненной гудением пчел. Место, где папы и мамы могли бы сказать своим детям: «Послушайте, как поет соловей, как скрипит коростель и квакают лягушки». Место, где ученик соседней школы увидел бы в натуре, а не на картинке то, о чем ему рассказывали на уроках биологии. Одних пернатых селилось или залетало сюда по скромному подсчету более сорока видов. Наконец, нарушилась экологическая связь: лес — болото. Ежечасно, все лето перемещались из низины на лесной взгорки необходимые для питания деревьев химические элементы. Теперь этот путь обогащения почвы отсечен. Вот что утратил город...

Лет двадцать назад на широкой полосе газона перед зданием Уральского университета в Свердловске высадили в три ряда вязы, дубы, клены. Вытянулся здесь густой кизильник. Сегодня на университетском газоне сиротливо стоят лишь несколько одиноких деревьев и нет ни одного кустика: вырубил. Упорно изгоняется кустарник и из других мест. В утренние часы слушал я на главном проспекте города певчих птиц. Сейчас они сюда не залетают. Нет кустарников, нет высоких деревьев — не стало птиц.

Суров принцип озеленения городов, которого придерживаются ныне архитекторы: «Перед взором человека должна быть не стена беспорядочно растущей зелени, а разумное чередование открытых пространств и свободно растущих красивых деревьев». Дорогая дань моде...

Заилненный, с непролазными

осоками и лозой западный берег городского озера Шарташ ныне превращен в песчаный пляж. Не осталось ни одной заводи с тростниками. И ондатра ушла из озера: лишилась корма, местообитания. Исчезли лягушки, тритоны, меньше стало рыбы. В жилом квартале обычно проектируется создание зеленого массива. Но чем он должен стать? Только ли украшением пейзажа или еще и местообитанием птиц и зверей? Учитывается ли архитектором фауна?

Нет, архитектор фауной не интересуется. Так ответили мне сами градостроители... В архитектурном институте студентам читают лекции по флоре, на фауну программой не отведено ни единого часа.

Вот как характеризуется ландшафтный архитектор в одном из институтских учебников: «Специалист, сочетающий знания архитектора, плановика и дендролога. Он должен уметь не только группировать зеленые насаждения, но и обрабатывать рельеф, устраивать водоемы, планировать дороги». О знании им фауны — ни слова. В том же учебнике перечислены четыре основных положения, которые надо учитывать в ландшафтном проектировании любого объекта: пространство, рельеф, водоемы, растительность. Фауны — нет. Между тем она является неотъемлемым компонентом любого ландшафта, значит, должна включаться в сферу ландшафтной архитектуры. Современной архитектурной наукой все же рекомендуется для предпроектной архитектурной оценки местности составлять карты: рельефа, почвы, растительности, микроклимата, животного мира и другие. На практике о карте животного мира забывают.

Архитектор И. А. Косаревский в книге «Искусство паркового пейзажа», изданной в 1977 году, на примере старинных парков Украины исследует опыт прежних зодчих и определяет роль насаждений, но ни словом не обмолвился о значении в парках фауны. Между тем как творцы этих парков отводили в них место и животным. На планах мы видим и фазанники, и бассейн для рыб, и террариум, и лебединое озеро. В чем же причина невнимания

нынешних архитекторов к фауне? Петр Дмитриевич Деминцев, известный и уважаемый свердловский архитектор, человек доброй души и замечательный собеседник, объяснил все по-житейски просто: «А не было необходимости учитывать фауну! Жизнь не выдвигала такой проблемы. Города были маленькие, животных в них — с избытком. У людей не было недостатка в общении с ними. Иное дело теперь: город-гигант вытесняет живую природу со своей территории».

Известные советские ученые А. К. Рустамов и Н. А. Гладков в книге «Животные культурных ландшафтов», изданной в 1975 году, писали: «Животный мир культурных ландшафтов... изучается не первый год, но итоги подводить еще рано. Можно только описать общую картину явления, указать на некоторые его географические и экологические закономерности, а также тенденции развития... Исследований по птицам культурных ландшафтов значительно больше, чем по всем другим группам позвоночных животных».

Пернатых Свердловска изучают орнитологи Института экологии растений и животных Уральского научного центра и группа студентов Свердловского педагогического института под руководством доцента Е. С. Некрасова. А чьи — земноводные, пресмыкающиеся, насекомые, обитающие в городе?

Предположим, архитектор получил все рекомендации, спроектировал и флору и фауну. Деревья посадит озеленитель, а кто «посадит» зверушек? Институт экологии? Студенты? Общество охраны природы или охотников и рыболовов? Управление сельского хозяйства? Нет. Может быть, горлесхоз?

Пятнадцать тысяч гектаров лесопарков, находящихся в его ведении, плотным кольцом облегают Свердловск. Есть ли там птицы, звери, сколько их, как они живут, в чем нуждаются? Беседу с лесничими. В круг обязанностей лесничего фауна не входит. Тем не менее, пока в нашем городе только они и проявляют настоящую заботу о животном мире: борются с браконьерством, искусственными гнездовьями привле-

кают птиц, охраняют муравейники, подкармливают сохатых. Конечно, и сами горожане тоже пытаются кое-что делать. Тонет лосенок в болоте — сбегаются люди и высвобождают его из плена. Заблудился лось в лабиринте городских улиц — помогут найти дорогу к лесу. Свила гнездо трясогузка под капотом скрепера, на раме автомобиля, под штабелем железобетонных блоков — за ним ревниво приглядывают, пока не появятся птенцы. Найдут подраненного зверька или птицу — несут их в ветеринарную лечебницу.

Как-то осенью на водоемах уральских городов задержались пролетные лебеди. Все охраняли их. Объявили по радио, установили дежурство на берегу.

Уместно упомянуть о таком случае. В английском городе Брейнтри сохранен большой пруд в центре города лишь для того, чтобы по вечерам слушать «концерты» лягушек. Пруд стал достопримечательностью Брейнтри.

И ныне в больших городах селятся и хорьки, и ласки, и горностаи, и куницы, и ежи, и летучие мыши; живут аисты, кукушки, соловьи; зимуют дикие утки; на плоских крышах строят гнезда жаворонки. Но все это происходит стихийно, неорганизованно. И трудно еще сказать, что в этом заселении хорошего и что плохого. Городу нужен грамотный «организатор» фауны — эколог. Хотя бы один.

Как-то зимою обошел я бывшие Карасики и окрестные леса и не услышал ни одной птицы. Даже дятел не стучал. Не прострекотала сорока. Белка не промелькнула в хвое. С гнетущим чувством вернулся я в город. Я вспомнил о дятлах и белках тогда, когда их не стало...

Городской парк или сквер без птичьих голосов производит унылое впечатление. Ровно подстриженный, едко зеленого цвета газон воспринимается, как покрашенная плоскость. Но если на газоне колышутся дикие злаки, синеют васильки, гудят шмели на клевере, стрекочут кобылки, — дохнет тогда простором лугов и полей. И дело не только в эмоциях. Замечена биологическая потребность человека в общении с живой природой.

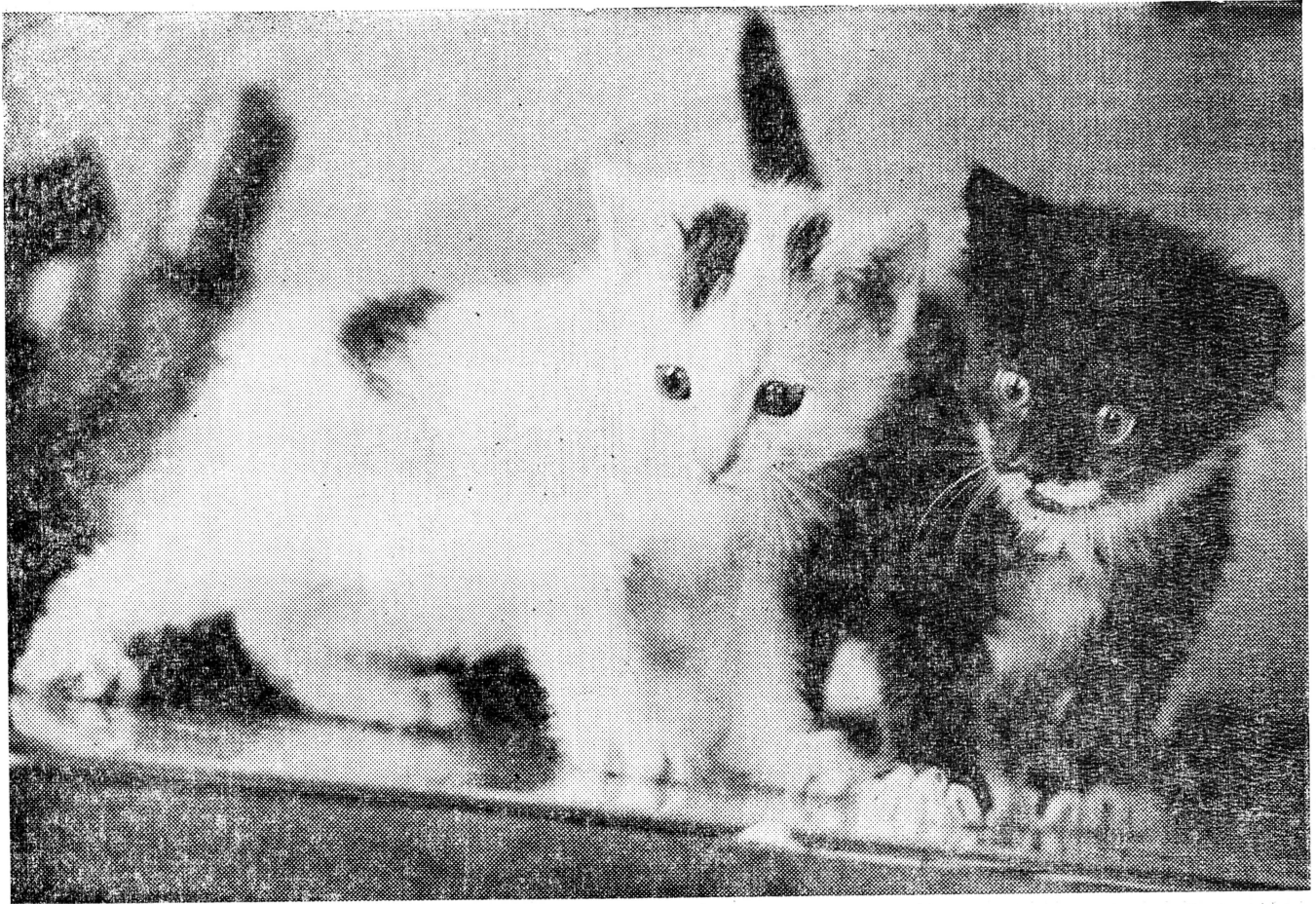
Профессор В. И. Морев, хирург-ветеринар, мой давний знакомый, рассказывая мне о животных в городе, заметил: «Общение с животными облагораживает детей, в хорошем понимании этого слова». И действительно. Не только эмоции и любопытство влечет ребенка к пушистому зверьку, к пестрой птичке, к ящерице или кузнечнику. Он как бы сопоставляет (еще неосознанно) себя с ними. Через них он познает себя, свою силу и слабость, свое место в природе.

Писатель М. М. Пришвин был охотником. Однажды оказался он в опасной ситуации — в трех шагах от берлоги потревоженного медведя. «Гибель моя была неизбежна, — рассказывает он в «Календаре природы». — Я унизительно чувствовал слабость и ничтожество своего тела, и это перенесло мое воображение в такую даль времени, когда человек обладал такой же чудовищной силой и боролся с медведем на равных правах. В эпоху каменного века наши волосатые предки охотились на мамонта, а теперь на последнего лесного великана — медведя охотятся бухгалтер... литератор с фотографом». Медведя убили. Ныне сила человека в знании. Но знание и обязывает. Обязывает защищать.

Петр Дмитриевич Деминцев, улыбаясь, рисует такую картину: «Каким мне видится Свердловск будущего? Он и над землей и под землей. Почва, растительность, воды и все, что обитает в их среде, остается нетронутым, свободным. 50—60—90-этажные дома стоят на большом удалении один от другого на столбах, пилонах. Коммуникации соединяют дом с землей и уходят вниз, под землю. Там же — склады, гаражи. На поверхности лишь дороги к сельскохозяйственным угодьям. Кругом зеленый мир, птицы, белки...»

Но разве только в городе будущего животные имеют вид на жительство?





МИЛЕЕ КОШКИ ЗВЕРЯ НЕТ

**Игорь
АКИМУШКИН**

*Фото
Л. Баранова*

В степях, кустарниках и саваннах всей Африки и Аравии живет буланая кошка. В пустынных сухих областях обитания она действительно буланого, песочного тона, в более влажных — бурая с серым и желтым оттенком. На боках у нее темные полосы либо пятна. Кошка небольшая, тонкая сложением.

Когда это случилось, то ли еще в доисторические времена, 9000 лет назад, то ли на несколько тысяч лет позже была приручена буланая кошка и стала домашним животным, сначала — в долине Нила, в Дрезнем Египте. И независимо от этого — в Передней Азии и на Кавказе. Здесь остатки таких кошек найдены в слоях неолита и бронзы.

Свидетельства о раннем приручении кошки не вполне достоверны.

Поэтому более осторожные ученые считают, что по-настоящему домашним животным кошка стала приблизительно четыре тысячи лет назад. А до этого жила вблизи деревень на положении полудиком-полудомашнем. Ловила мышей, люди ее не преследовали, а подкармливали. Словом, потихонечку приручали, и это приручение, как ни у одного другого домашнего животного, продолжалось долго.

Так или иначе, но уже в период Нового Царства, в XVI веке до нашей эры, вполне домашнюю кошку можно было встретить в долине среднего и нижнего Нила. Очень популярное, любимое людьми стало

это животное, больше того — особая, высокопочетная, прямо-таки райская судьба ожидала кошку в Египте. Жрецы произвели ее в ранг священных животных: кошка посвящена была богине Бас, или Бастет. Изображали эту богиню с кошачьей головой. Почему именно кошке была оказана такая честь? Полагают, что отличная плодовитость, ночная жизнь ее были побудительными к тому причинами. Ведь Бастет — богиня луны, плодовитости и деторождения. Ее храм в городе Бубастисе был одним из самых почитаемых заведений подобного рода. Паломники тысячами приходили к нему с разных концов Египта. Геродот рассказывает: порой до 700000 верующих собиралось у этого храма в особочтимые праздники. Цифра, очевид-

но, сильно преувеличенная. Но археологические находки убеждают: культ кошки был весьма популярным в дельте Нила. Множество кошачьих статуэток из глины, бронзы, серебра, золота найдено при раскопках. Их приносили паломники к храму Бастет в жертву священной кошке. Приносили и мумии своих любимых кошек. Когда кошка умирала, ее бальзамировали со всей тщательностью. Истинное горе постигало всю семью: люди, в чьем доме жила эта кошка, в знак траура выбривали брови, обстригали волосы. И, как повелевал обычай и религия, хоронили кошку на особом кладбище.

Законы Древнего Египта карали всех, кто причинял вред кошке. За ее убийство назначалась смертная казнь. Даже во времена после завоевания Римом Египта были случаи, когда разъяренный народ учинял самосуд над римлянами и другими иностранцами, пусть и нечаянно убившими кошку.

При пожаре первым делом спасали кошек из горящего дома, потому только — имущество. Вывоз кошек за границу был запрещен. Этим, по-видимому, и объясняется довольно медленное распространение кошек по другим странам мира, особенно европейским.

В Вавилоне домашние кошки появились лишь во втором тысячелетии до нашей эры. Отсюда завезли их в Индию, позднее — в Китай. В Греции, на Крите по крайней мере, в XII веке до нашей эры уже жили домашние кошки. Они встречались редко и высоко ценились: иметь кошку считалось роскошью и большим модным приобретением.

Такой же редкостью были кошки и в европейских странах Римской империи. Запрет на вывоз кошек из Египта — тому причина. Лишь с началом христианства, когда кошка вдруг из «богини» превратилась в «ведьму», пришел конец эмбарго на экспорт кошек. Их стали в большом числе привозить в итальянские провинции Рима, позднее в Германию, Галлию, Швейцарию и даже в Англию. В конце IV века римский писатель Палладиус советовал в борьбе с мышами и кротами (вредителями артишоков) заменить домашнего хорька фретта кошкой: она успешнее, дескать, справляется с этим делом. Палладиус впервые ввел в употребление слово «кэттус» вместо старого латинского наименования кошки «фелис». Полагают, что от «кэттуса» ведут начало и английское «кэт», и немецкое — «катер» и «катце», и русское — «кот».

В средние века тяжелые времена наступили для кошки — в странах христианских. Там, где господствовал ислам, прежним почтением,

хотя и меньшим, чем в Египте, пользовалась кошка. Коран отзывается о ней с уважением (чего нельзя сказать о «презренной» собаке!). Легенда рассказывает, что Магомет очень любил кошек. Когда одна из них спала на его рукаве, а ему нужно было встать и уйти, он будто бы, чтобы не беспокоить любимую свою кошку, тихонько отрезал рукав!

Первые христиане относились к кошке еще неплохо. В женских монастырях она была единственным домашним животным, которое разрешалось держать монахиням. И в мужских монастырях, конечно, жили кошки. Некоторые исследователи полагают, что именно монастыри в раннее средневековье способствовали распространению кошки по Европе. Но позднее кошку объявили исчадием ада, пособницей ведьм и колдунов, воплощением нечистой силы. Черным кошкам особенно худо было: началось массовое их избивание.

В великий пост в Ольденбурге, Вестфалии, Бельгии, Швейцарии, Богемии, на масленицу в Вогезах, в Эльзасе на пасху, в Меце в иванов день... Словом, по всей католической Европе во все христианские праздники живьем сжигали и закапывали в землю кошек, жарили их на железных прутах и в клетках. Все это с обрядовыми церемониями, на глазах больших толп верующих.

Во Фландрии, в городе Иперн, среда на второй неделе поста называлась «кошачьей средой». В этот день кошек бросали с высокой башни. Дикий обычай введен был графом Болдуином Фландрским в десятом веке и просуществовал сотни лет. Есть свидетельства, что еще в 1868 году кошек бросали с ипернской башни.

Губительные для кошек суеверия иного рода веками существовали в Европе: для отпугивания крыс и всякой другой нечисти (в том числе и сверхъестественной) кошек замуровывали в стены и фундаменты. Когда сносили или перестраивали старые здания, находили — и сейчас еще находят — много кошачьих мумий, не бальзамированных, как в Египте, а высохших, в проемах кирпичных и каменных кладок. Обычно кошку замуровывали с крысой во рту — по всей Европе от Гибралтара до Англии и Швеции распространен был этот нелепый и жестокий обычай. Даже в наш просвещенный век, в 1920 году, замуровали кошку под порогом одного дома в Швеции. На счастье — так уверяли хозяева...

В средневековье многие из людей, обладавших властью, выступали в защиту кошки, понимая, какую приносит она пользу уничтожением мышей и крыс. Одним из первых таких разумных людей был владетельный князь Уэльса Дда: в 936 году он издал закон, охраняв-

ший кошек от преследования фанатиков. Закон этот мало кем был услышан: до самого ренессанса и позже продолжалось истребление кошек, нелепые над ними судилища и расправы. Церковь воспитывала у населения неприязнь к кошкам. С Возрождением положение стало меняться. Церковный авторитет и власть суеверий шли на убыль. Гуманисты, много сделавшие в ту эпоху для воспитания человеческих чувств пропагандой добрых дел и идей, реабилитировали, так сказать, и кошку. Многие культурные люди полюбили кошек. Историки рассказывают, что Кольбер, политический деятель Франции при Людовике XIV, садясь работать, окружал себя кошками. Они забирались на его стол, и тогда он обретал душевное равновесие и покой. Кардинал Ришелье тоже был большим любителем кошек.

Однако настоящее признание и всеобщая любовь пришли позже — в прошлом веке. Скульпторы, живописцы, поэты вдруг точно прозрели: пораженные кошачьей грацией, красотой и пластичностью движений этого животного, посвящали ему свои произведения. Швейцарец Готфрид Минд, прозванный «кошачьим Рафаэлем», всю жизнь рисовал кошек. Его соотечественник Теофил Штайнлен опубликовал альбом рисунков под названием «Кот». Кошки, изображенные в нем, отличались грацией, но были, пожалуй, чересчур длинноногими.

Жрецы от искусства нового культа кошки собирались в Париже на Монмартре, в кафе «Черный кот». Веселились, как видно, там на славу, а наутро, как и полагается, одолевало их тяжелое похмелье. Так вот и получилось — слово «кот» стало символом и синонимом... ночной жизни. А когда те же обычаи завелись и в Берлине, то старое германское название kota — «катер» — приобрело и поныне носит второе свое смысловое значение — «похмелье».

Увлечение кошкой в последнее столетие двояко повлияло на судьбу этого животного. Для бездомных и больных кошек были учреждены приюты: в Лондоне, Париже, Риме, Берлине, Женеве, Каире и в других городах. Одному из приютов при церкви св. Лаврентия во Флоренции уже более двухсот лет.

Организовывались общества и клубы любителей кошек, которые занялись их разведением. Стали устраиваться выставки породистых кошек. Крупными призами, например в Англии, награждали победителей на таких выставках.

Разводить породистых кошек труднее, чем прочих домашних животных. Вольный нрав кошки, склонность к самостоятельным прогулкам и похождениям, особенно в марте и вообще в те дни, когда для сохранения чистоты породы кошку необходимо было бы держать на привязи или взаперти, разрушают усилия селекционеров. Только состоятельные люди могут не одну, а много кошек содержать и разводить в чистоте. Для этого необходимы особые, хорошо огражденные выгулы (кошка ведь всюду пролезет!), с теплыми помещениями. Кормить множество кошек тоже не дешево. Трудность еще и в том, что самки капризны и не всякого кота подпускают к себе в тот момент, когда необходимо в целях продления рода их сближение. Нужен индивидуальный подход к выбору женихов.

Словом, разведение кошек по породным группам — хлопотливое и дорогое предприятие. И все эти усилия не приносят больших хозяйственных выгод и доходов, только удовлетворяют любительскую страсть.

Очевидно, по этим причинам, а, возможно, также и в силу особых генетических свойств, заложенных в кошках от природы, выведенные кошачьи породы не отличаются четкостью, немногим разнятся друг от друга. Главные различия — длина, качество и окраска шерсти. Некоторые клубы любителей кошек так и разводят их — по мастям и расцветкам, по длине шерсти, отказавшись от настоящих принципов и признаков истинной породы.

Наиболее четкая порода — сиамская кошка. Котята у нее почти белые, светлоглазые. Взрослые кошки изящной расцветки: однотонно-бежевые, уши, морда, ноги, хвост — темно-коричневые. Очень типичны голубые глаза. Кошка темпераментная и умная. Впрочем, весьма своенравна, память у нее отличная — и на ласку, и на обиды. При хорошем к ней отношении послушна, идет на зов, гулять с ней можно, как с собакой. Легко приучить ее пользоваться унитазом. Очень интересная кошка. Выведена в Сиаме. Впрочем, некоторые специалисты полагают, что сиамская кошка сравнительно молодая мутация индийской кошки. Впервые привезена в Европу в 1884 году, в Англию. В СССР появилась недавно, но быстро завоевала симпатии любителей кошек (первых сиамских кошек привез в нашу страну, кажется, Сергей Образцов).

Самая древняя из пород кошек — ангорская, или персидская. Завезена в Европу еще в шестна-

дцатом веке, впервые — тоже в Англию. Позднее в Италии стали разводить этих кошек. У них шерсть длинная, пушистая, на шее — нечто вроде гривы. Условно различают две расы — собственно ангорская (обычно белой масти) и настоящая персидская (темно-серая с голубоватым оттенком). Разнопородные помеси этой кошки, которые тоже весьма пушисты, у нас обычно называют сибирскими котами. Еще Дарвин заметил, что белые ангорские кошки с голубыми глазами — все глухие! Интересно также, что трехколорные кошки (желто-черно-белые) — все самки.

К группе длинношерстных принадлежит также китайская кошка (нередко — у нее повисшие уши!). Ее разводят в Китае давно и не для ловли мышей, а на откорм: этих кошек там едят (кстати сказать, жаркое из дикой кошки когда-то славилось и у жителей гор Швейцарии).

Кошка с острова Мэн совершенно бесхвостая. Задние ноги у нее длинные, оттого спина сильно выгнута, зад выше передка. Выглядит она карикатурно, похожа немного на рысь, неуклюжа, лазает плохо, но очень ласковая и привязчивая. Породы бесхвостых кошек выведена и в Японии. Некоторые исследователи полагают, что кошка с острова Мэн завезена сюда из Японии.

Известны и другие, короткохвостые породы кошек — голландская (бларикумская), кохинхинская, мадагаскарская. Короткий хвост и у некоторых кошек Индонезии, Бирмы.

Картейзская кошка голубоватого окраса, абиссинская (родина которой, однако, не Абиссиния, а Сардиния!) — однотонно-светло-бурая с желтизной. У нее редкий для кошек окрас — так называемый зонарный: каждый волос с зонами разного цвета, как у волка и некоторых собак.

Кошка весьма плодовитое животное: беременность всего 50—60 дней, котят она приносит не один раз в году, и число их в исключительных случаях превышает десяток. Ежегодно во всем мире уничтожают бесчисленное множество котят. Нравственное наше чувство протестует против этого, но иного выхода пока нет. Иначе бы кошки заполнили города и селения всех стран. Бездомные, бродячие кошки представляют уже неразрешимую проблему для многих городов. Организованное их уничтожение вызывает вполне понятную отрицательную реакцию у населения. Но что делать?

У кошек всех пород характер и отношение к человеку в общем одинаковы и хорошо всем извест-

ны, чтобы об этом стоило много говорить.

Это верно — кошка больше привязана к дому, чем к людям, его населяющим. Но бывают исключения: все, по-видимому, зависит от отношения самого человека к кошке и ее индивидуального характера. Кошка — одно из самых умных животных, но способности у разных кошек неодинаковые. Умные кошки неплохо дрессируются. Их можно обучить, как собак, носить поноску, апортировать брошенные предметы, служить на задних лапах, кувираться под музыку. Они встречаются хозяина далеко за порогом дома, с ними можно гулять, как с собаками. Только нужно приноровиться к их небыстрому ходу и манере исследовать по пути окрестности. Кошка без этого просто не может. Вековая жизнь под властью человека не повлияла на нее так решительно, как на прочих домашних животных.

Она как была, так и осталась маленькой пантерой. «Неприрученным домашним животным» называют ее, и это в какой-то мере верно. Тот, кто хочет найти более тесный контакт с кошкой, должен помнить об этих особенностях ее характера и поведения.



**ОТВЕТЫ
НА ЗООВИКТОРИНУ,
ОПУБЛИКОВАННУЮ В № 8**

1. Кит. 2. Тур. 3. Лань. 4. Аноа.
5. Соня. 6. Пума. 7. Тапир.
8. Коала. 9. Кавия. 10. Ласка.
11. Медоед. 12. Муравьед.

РЕБРЫШКИ КРЕМНЯ

Лет двадцать я не был в родном краю. Моей деревни уже и в помине нет. А все тянет туда, где родился.

Поехали с пятилетним сыном.

Там, где стоял наш дом, земля заросла высокой травой, а место, бывшее под хлевом, взялось густой крапивой.

Сын бегал по дворищу и все что-то выскивал: то ботинком подковырнет, поддаст, то поднимет, рассмотрит, швырнет.

— Папа, гляди, какой камень я нашел! — Он подбежал ко мне и протянул находку.

Меня охватило волнение.

— Это кремень, сынок.

— Кремень?..

— Да. Такой твердый-твердый камень... Во время войны в деревне не было спичек. Твоя бабушка Дуня, бывало, стукнет кремень о кремень — искры летят, попадают на ветошь, на сухую траву, а та тлеть начинает. Остается огонек раздуть...

— Пап, и ты искры делал?

— Меня чаще посылали искать кремень...

Сын вертел в ручонках желтый с острыми гранями кусочек.

— Хороший...

— Чем он тебе нравится?

— У него ребрышки крепкие.

И я тоже кремень любил за это. Очень мне нравилось с его помощью добывать огонь.

Другие мальчишки находили на дне речных быстрин камешки гладкие, как яичко. Очень дорожили ими.

А я любил только острые, чтоб высекать из них искры.

Сын присел на корточки у большого валуна и начал яростно ударять по нему ребристым кусочком. Скоро у него стало получаться: он высек искорки!



Постучит-постучит да и посмотрит на чудокремень.

Глядел и я на этот кремешок, глядел и видел свое детство.



ЖАРКИЙ ДЕНЬ

В летнюю пору деревня будто вымирала: и стар и мал выходили в поле. Подрастали мальчишки, и им давали работу, что больше подходило мужчинам. Мне тогда шел одиннадцатый.

Белокурая, быстрая на ногу колхозная бригадирша Нинка Калитенкова повадилась посылать меня окучивать картофель.

— Возьмешь Шурика, выпрягайте Цигарку и — к Большим воротам.

Мне все было ясно. Шурик — толстенький се-

милетный мальчик — на радостях выбирает уздечку и, мелькая белой головой, бежит в поле за Цigarкой. Эта старая крупнозадая с тяжелыми копытами лошадь необычайно высока. Шурику каждый раз приходится искать либо высокий пен, либо что-то другое, дабы взобраться на ее широкую спину. И едет он на Цigarке, будто на слоне.

— Тебя только за смертью посылать. Вон солнце уже как припекает,— говорю ему.

— Еще роса не высохла,— бычась, заявляет Шурик.

— Значит, жаркий день будет. Оводы заедят.

Надеваю Цigarке хомут, а она так высоко поднимает голову, что мне никак не дотянуться. Тогда мы подводим ее к телеге. Вскакиваю на передок, и хомут легко лезет до половины морды, а дальше на большую лошадиную голову его приходится просовывать с трудом, толчками.

Засупонил. Осмотрел по-хозяйски плуг с двумя раздвижными лемехами.

— К Большим воротам,— напоминаю Шурику.

Большими воротами называют место, пригорок, где луг граничит с картофельным полем. Там проходит пыльная дорога. До войны поле было обнесено изгородью, чтоб не заходил скот, а дороге преграждали широкие ворота. Их называли Большими. Так и осталось.

Начали окучивать от воткнутого березового шестка — последней борозды вчерашнего трудового дня.

Шурик хлопнул ладошкой по крупу лошади, и она, вдавливая широкими, как тарелки, копытами землю, закивала большой головой. Зашепелявили лемеха, скрежеса камнями.

Силы у нас после ночи были свежие. И мы споро окучивали борозду за бороздой, загон за загон.

Солнце припекало. Цigarка притомилась, ходила медленнее, и Шурик попросил меня отломать лозовый прутик.

Цigarка быстро привыкла к ударам прутика, перестала его бояться. Ступала как сонная.

Плуг два раза вильнул в сторону. Пришлось останавливаться, поправлять ботву, картофелинки засыпать землей. Ногой я ударился о выпавший камень, резко присел в беззвучном плаче.

— Можешь ты эту клячу отстегать как следует! — закричал я.

Шурик повернулся ко мне. Он давно уже ерзал на костистой хребтине. Сейчас представился случай изменить положение.

— Ты не ругайся на старую кобылу,— сказал он.— Она войну отвоевала.

У холки лошади прожужжал овод. Шурик хотел его поймать. Но овод спустился вниз, стал тыкаться в большой Цigarкин живот. Она по коже пустила дрожь. И овод никак не мог твердо сесть.

— Может, дадим передохнуть? — шурясь от солнца, сказал Шурик.

Допахали борозду. Я стащил с Цigarки хомут. Он был мокрый и сильно пах лошадиным потом. И ладонь у меня стала влажной, когда я хлопнул овода на ее горячем животе.

Шурик враскорячку побежал за нашими курточками. Они остались далеко на лугу у березового колышка. Штаны его взмокли от лошадиного пота.

Одежду расстелили на поже.

— Ты чего костыляешь? — поинтересовался Шурик.

Я вытянул ногу. На большом, грязном от земли пальце кровоточила ранка.

Шурик поморщился, посоветовал:

— Промой слюной. Я тебе оторву тряпку: в пиджаке подкладка рваная.

— Засохнет сама.

— Я тоже никогда не завязываю,— сказал Шурик.

Нас разморило. Уснули.

Проснулся я оттого, что больно ужалил овод. Хлестнул себя через плечо по лопатке и посмотрел на Шурика. Меня охватил ужас! Между нами, свернувшись черными кольцами, лежала змея. От страха я не мог ни крикнуть, ни шевельнуться. Все-таки стал осторожно вставать. Змея дернулась, подняла голову, впилась в меня маленькими глазками, заиграла жалом. Чем выше я распрямлялся, тем спокойнее расправляла она свое длинное тело. Шипела. Я сделал назад шаг-другой. «Как же Шурик?..» — мелькало в голове. Будить не решался: испугается Шурик, со сна рукой может на змею опереться.

«Если я стану ее дразнить, она, возможно, кинется за мной. Тогда Шурика не укусит», — пронеслось в моей голове.

А змея все раскручивалась и раскручивалась. «Шуричек, миленький, не пошевелись!»

Черная веревка, переливаясь на солнце, тянулась вдоль спящего Шурика. Она задрала голову, перевалила через оголенную Шурикову ногу. Я стоял каменным изваянием и вонзал взгляд в змею. Она медленно переползла через ногу моего помощника и зашуршала в траве.

Шурик повернулся на другой бок, оторвал от курточки голову, шурясь, посмотрел на меня, почесал ногу.

— Ты меня щекотал?

— Щекотал... — ответил я, внимательно рассматривая Шурика. — Больно?

— Не-т... Прохладененько так...

Не сказал я ему о змее.

Впрягли Цigarку. Она беспрестанно хлестала себя длинным хвостом, била землю копытами, мотала головой, а вокруг зудили нахальные оводы.

— Давай отметим загон, докуда будем распахивать,— предложил Шурик.

Я сковылял за ольховым кустиком, воткнул его в край поля метров за двадцать от последней пропаханной борозды.

Начинать не хотелось.

— Солнце уже к обеду,— намекал Шурик.

— Не скули.

— Я и не скулю. Катьку надо встречать. Сегодня рано прибежит. Печет потому что...

— Ладно... поехали.

— Видно, к ночи гроза соберется: парит и оводы злючие,— рассуждал Шурик.— А Катька может в огород залезть. Она, знаешь, как рогами тын раздвигает...— он крутнул головой.

— Мать не встретит, что ль?

— Они на дальних лугах сегодня косят.

— До кустика допашем и распрягем... Ваша коза много молока дает?

— Катька-то? В стеклянную банку не лезет иной раз.

Напекало макушку. Сняли майки и обмотали ими головы. А оводы роем вились под Цигаркой. Жалили ноги Шурика.

— Ну, черти!..— хлестал он ладонью по испятнанным кровью голеним и признался:— Мне больно сидеть.

— Доедем до луга — подстелешь мою куртку...

Все-таки мы осилили загон. Выпрягли Цигарку, спутали ей ноги, чтоб далеко не ушла, и пустили пасть на луг.

Лошадь фыркала, хватала траву, мотала головой, прыгала к кустам — о них удобно тереться.

Шурик домой бежал вприпрыжку: нужна была разминка после верховой езды. Я шел размеренно: находился за плугом.

У плетня Шурикового огорода нас встретила Катька с черным пятном на лбу. С нее свисала грязно-белая шерсть, впалые бока часто поднимались и опускались, распертое молоком вымя сосками упиралось в землю.

— Пойдем,— взял ее Шурик за шею и повел в хлев.

— Быстрее ешь да побежим на речку,— сказал я ему.

Едва я успел управиться с обедом, как он прибежал с ломтем черного хлеба, густо посыпанного солью, и пучком зеленых перьев лука.

Вода была прохладная по сравнению с песком на берегу. И мы почти весь обед не вылезали из речки. А потом пошли по домам. В избе было душно. Я уснул в деревянной кровати, вынесенной на лето в сенцы.

Разбудила мать. Она сидела на краешке и гладила мои мокрые волосы.

— Сладко спал. Ну, как мы там? — спросила мать.

— Пашем.

— Ты поешь супу. Косточку возьми. Я спешу, сынок. Бабы уже побежали.

— Иди. Я сам все найду.

— Не проспи, детка. А то перед людьми будет стыдно...

Цигарку нашли в кустах. Она пообломала там ветки и вытоптала кружные дорожки.

Оводов и мух было уже меньше.

Впрягли Цигарку. Шурик влез мне на спину, на плечи. Я приподнялся — он взобрался на спину лошади.

— Теперь будет мягко,— подстилал он вдвое сложенную фуфайку.

— Тебе-то мягко, а кобыле жарко.

Шурик молча хлестнул лошадь плеткой, сделанной из молодой лозовой коры.

Жара слабела. Мы все трое втягивались в работу.

К перерыву на отдых оказались далеко от завядшего на солнце ольхового кустика.

Отдыхали опять на пожне. Только теперь я выбрал место подальше от густой травы и не решался спать.

Полежав на фуфайке, решили продолжать работу. Шурик что-то мурлыкал себе под нос и похлестывал Цигарку. Я шел за плугом, приятно ощущая тепло земли, прогретой солнцем за день.

К концу мы приумолкли.

Темный лес притягивал к себе остывающее солнце. С дальних лугов выползал туман. Он поднимался и у ближних кустов.

— Ну, хватит, ребята, а то лошадь устала.

Бригадир Нинка уже обмерила окученный нами картофельный участок и подсчитала в блокноте:

— Гектар, десять сотых...— сказала она.

— А это много? — склонил набок голову Шурик.

— Много,— ответила она. И рассудительно вполголоса:— Мужчины есть мужчины. Можете завтра пораньше выехать, чтобы на солнце не печься...

С треугольным деревянным шагомером на плече Нинка пошла дальше. Мы отправились в деревню.

— Я слезу,— заявил Шурик.

— Чего ты! Сиди.

— Нн-е... Ссади меня.

Я снял его. Он стал на лужок, ноги враскорячку. Штаны отдирает. Сопит.

— Что?..

Он опустил штаны и показал: копчик был растерт до крови.

— Ну, потерпи. Заживет. У меня было хуже.

— А долго заживает?

— С недельку...

Мы возвращались с работы.



Смертная казнь за футбол

Игорь
АЛЕБАСТРОВ

Рисунки
С. Ашмарина



В 1980 году в Москву «грядут» очередные Олимпийские игры. В программу их входит футбол — один из самых любимых народом видов спорта.

Огромная популярность у футбола. Но на пути к олимпийскому признанию ему пришлось пережить немало гонений...

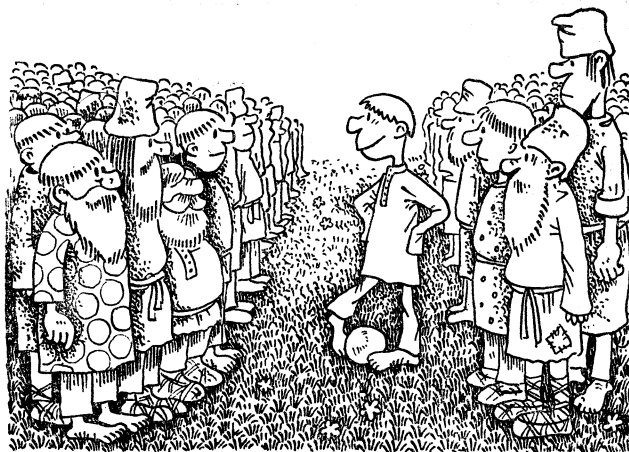
Давайте перенесемся в XII век, в средневековую Англию, где футбол только начинал свой путь.

В городах Англии в футбол играли на рыночных площадях и даже на узких кривых улицах. Численность играющих доходила до ста и более человек. Играли с середины дня и до захода солнца. Ограничений не существовало. Можно было играть руками и ногами, можно было хватать игрока, владеющего мячом, сбивать его с ног. Как только игрок овладевал мячом, за ним тотчас устремлялась веселая, буйная толпа играющих. В азарте свалок и рукопашных с треском рушились торговые палатки, в щепки разносились базарные ларьки. Полные ужаса, прижимались к стенам домов солидные горожане, монахи и даже бесстрашные рыцари...

Один английский писатель писал о футболистах, что у них «щеки в синяках, ноги, руки и спины переломаны, выбитые глаза, носы, полные крови...» А некто, иностранный путешественник, наблюдая за игрой в футбол, воскликнул: «Если англичане называют это игрой, то что же они называют дракой?!»

Очень скоро против футбола ополчились церковники, феодалы, купцы — они требовали запретить футбол. Народная игра казалась им слишком беспокойной и опасной: она спланивала людей, частенько под предлогом игры в футбол собирались недовольные. Особенно неис-





товствовали церковники, называвшие футбол «выдумкой дьявола», «бесовским радением».

Выполняя волю феодалов, король Эдуард II в 1313 году запретил игру в футбол в пределах города. В королевском указе он был назван «беснованием с большим мячом». Сохранилось постановление одного королевского шерифа, в котором он присудил к штрафу и тюремному заключению двух ремесленников за то, что они, «собравшись с неизвестными злоумышленниками в количестве около ста человек, играли самым незаконным образом в известную противозаконную игру с мячом, именуемую футболом, посредством которой между ними произошло побоище».

После этого указа игры стали проводиться на пустырях за городом — подальше от королевских стражников и шерифов. В 1333 году Эдуард III запретил вообще «всякий бег вперегонки», заодно король посетовал: «Стрельба из лука заброшена из-за бесполезных и незаконных игр в футбол».

В 1389 году Ричард II запретил игру в пределах всего королевства. Наказания были установлены самые суровые, вплоть до... смертной казни!

Неоднократно англичане подавали королям петиции с просьбой отменить запрет и всякий раз получали отказ. Запрещение футбола подтвердили короли Генрих IV — в 1399 и 1401 годах, Генрих V — в 1413-м и 1433-м, Генрих VI — в 1449-м и 1451-м, Эдуард IV — в 1471-м, Генрих VII — в 1491 году, а Генрих VIII издал указ о наказании не только игроков, но и владельцев полей, на которых играли в футбол.

Несмотря на запреты, народ продолжал играть в футбол. Рассказывают, что даже вечно угрюмый и молчаливый, набожный пуританин Оливер Кромвель — «Господин Молчание» — в юности играл в футбол.

Только в 1592 году запрет на футбол был снят в Шотландии, а в 1603 году — в Англии. Народ отстоял свою любимую игру, но еще долго оставалась за ней слава «подлой, плебейской».

На Руси с незапамятных времен тоже существовали игры с мячом, похожие на футбол. Играли в лаптях на льду рек или на базарных площадях кожаным мячом, набитым перьями. Одна из таких игр называлась «шалыгой»: игроки ногами стремились загнать мяч в «город» противника. Любопытное описание старого русского футбола дал



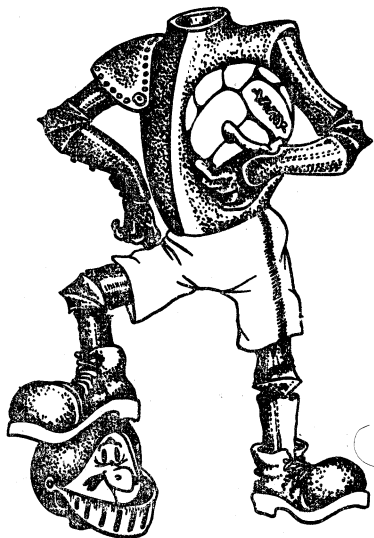
в «Очерках бурсы» писатель Н. Г. Помяловский: «На левой стороне двора около осьмидесяти человек играют в килу — кожаный, набитый волосом мяч, величиной в человеческую голову. Две партии сходились стена на стену; один из учеников вел килу, медленно передвигая ее ногами, в чем состоял верх искусства в игре, потому что от сильного удара мяч мог перейти в противоположную сторону — в лагерь неприятеля, где и завладели бы им... «Кила!» — закричали ученики, — это означало, что город взят. Победители в восторге и с гордостью возвращались на свое место...»

На игру в мяч русские люди шли охотнее, чем в церковь, поэтому именно церковники в первую очередь призывали к искоренению народных игр. В своде церковных постановлений XVI века было сказано об играх в мяч: «Аще кто в праздники, или в недели, или в святые вечера на игрища ходит или на конские ристания или личину наденет на себя, семь лет да запретится, поклонов сто на день и двести молитв».

В указе царя Алексея Михайловича от 1648 года было сказано: «А которые люди от сего богомерзкого дела не отстанут и учнут впредь такова богомерзкого дела держаться и по нашему указу тем людям велено делати наказание... и тех велеть бить батогами, а которые люди от того не отстанут, а объявятся в такой вине и в третье и четвертые, и тех по нашему указу велено ссылать в украиные города».

Но напрасно бесновались целыми столетиями цари и короли, церковники и феодалы — футбол оказался сильнее запретов, благополучно жил и развивался, приобрел современную форму и стал олимпийским видом спорта. Правда, на первые олимпиады его еще не пустили — были проведены только показательные игры: футбол преподнесли зрителям в виде такого экзотического зрелища.

В 1908 году футбол был включен в программу Олимпийских игр. И сейчас трудно представить себе жизнь и быт любого народа без футбольных матчей.



П У Р Н И Р

Репортаж

■ Гостей Дворца пионеров встречает яркий плакат: «Привет спортивной смене!» Сегодня здесь большой праздник — традиционный шахматный турнир школ. Поболеть за своих пришли преподаватели, ученики, родные. Ровно в десять участники выстраиваются на линейку.

Завед Дворца говорит, что школы прислали на турнир лучших своих воспитанников, он глубоко убежден: победит дружба! Капитаны команд отдадут рапорт, смущенно жмут друг другу руки. Под звуки горна на флашток взвывается полотнище с шахматным конем.

Весело проходит жеребьевка, и вот участники занимают места за столиками.

На первой доске жребий сводит сильнейших — мастера Диму Петренко и кандидата в мастера Петю Ильинского. Первый — коренастый, с напористым взглядом из-под толстых стекол. Второй, наоборот, — долговязый, с застенчивой улыбкой. Петя и Дима — давние соперники, оба игроки позиционного склада, хотя и воспитанники разных школ.

За соседним столиком перворазрядницы Туся Мухина и Ира Печникова. Ира играет очень внимательно, не отвлекается, каждый ход тут же прилежно записывает в тетрадку. Говорят, такая она и в жизни. Это тоже старые соперники. Недавно Туся удачно провела одну рискованную комбинацию. В результате Ира допустила зевок и потеряла важную фигуру — своего мужа Костю Канарейкина, бывшего одноклассника, а ныне главного инженера. Но, судя по всему, Ира не сдалась и определенно рассчитывает на реванш. Она в отличной спортивной форме — на ней потрясающий брючный костюм. Да, эта дружеская встреча обещает быть особенно жаркой!

За столиком в углу... Никого. Фигуры на доске не тронуты. Где же Саня и Вадик?.. А они, и не приступив к игре, отправились в буфет — видно, за пончиками. И вот уже на весь Дворец звучат их бодрые надтреснутые голоса — они тянут звонкую песню: «С голубого ручейка начинается река...»

Интересно, что же за это время произошло на первой доске? Положение сложное. Дима пьет валидол. Старые педагоги хорошо помнят: в детстве у него было слабое сердце, почему из всех видов спорта он и выбрал шахматы. Сейчас Дима доктор наук, профессор. А Петя — режиссер, путь в искусство начал еще на школьной сцене. Он то и дело трет лысину — по театральной привычке пожертвовал качеством, но успеха не добился. Оба соперника в цейтноте — одному давно пора на лекцию в институт, другому — на спектакль.

В зал заглядывает вихрастый паренек с карманными шахматами. «А ну, кыш отсюда! — шикает на него вахтерша. — Не вишь, школьный матч идет. Посмотронних пускать не велено!»

Савелий
Цыпин



В редакции «Крестьянской газеты»

Этот снимок был сделан в ноябре 1925 года в редакции «Крестьянской газеты». Автором фотографии был, по всей вероятности, Николай Константинович Татарченко, в ту пору единственный фотокор в Свердловске. На снимке запечатлены П. П. Бажов, выше его — И. П. Шухов, в центре — А. И. Шубин, справа — П. А. Карьков.

Заведующий отделом писем «Крестьянской газеты» П. П. Бажов, автор знаменитой «Малахитовой шкатулки», был уже известен тогда как очеркист и автор книг «Уральские были», «За советскую правду».

Имя Ивана Петровича Шухова (1906—1977) было хорошо известно советскому читателю 30-х годов. Его романы «Горькая линия» и «Ненависть» получили высокую оценку А. М. Горького. Долгие годы И. П. Шухов возглавлял писательскую организацию Казахстана, был членом правления Союза писателей СССР.

Выходец из крестьян, Александр Иванович Шубин был постоянным автором журнала «Товарищ Терентий». Еще до революции он написал несколько брошюр, разъясняющих политику партии в деревне. В 1928 году вышла из печати его книга рассказов «Тайны рыбацкого счастья», а в 1937 году — повесть «Зеленый товар».

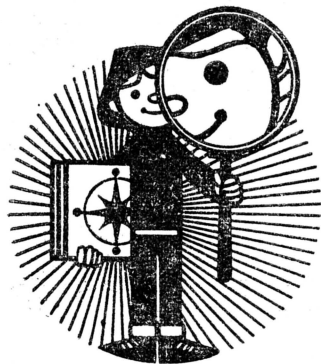
Уроженец Ирбитского района Петр Абрамович Карьков тоже был корреспондентом журнала «Товарищ Терентий», а затем «Крестьянской газеты». В 1932 году в Свердловске была издана его книга «В корабельном лесу».

Аркадий КОРОВИН

Снимок публикуется впервые.

М И Р

НА ЛАДОНИ





Учитель Чернышевского

В Саратовской семинарии, где учился Николай Гаврилович Чернышевский, гражданскую историю преподавал Гордей Семенович Саблуков. Пока были живы родители Чернышевского — Гаврил Иванович и Евгения Егоровна, — он был постоянным гостем в их доме. Еще до поступления Николая Чернышевского в семинарию Саблуков часто беседовал с ним, учил его французскому и татарскому языкам.

В семинарии Г. С. Саблуков был любимым учителем Чернышевского, на его лекции по истории он ходил с удовольствием.

Г. С. Саблуков был яркой, незаурядной личностью. В «Библиографическом словаре отечественных тюркологов» сказано, что Гордей Семенович Саблуков (1804—1880) родился в семье священника Аскинского завода Оренбургской губернии, детство провел в Оренбурге. Здесь он окончил семинарию, затем поступил в Казанскую духовную академию как медалист.

26-летний Г. С. Саблуков получил назначение преподавателем еврейского языка и гражданской истории в Саратовскую семинарию, где работал до 1849 года. Н. Г. Чернышевский в этой семинарии учился в 1842—1848 годах.

Саблуков прекрасно знал арабский язык, был крупным знатоком истории мусульманства. До сих пор не потеряли научного значения многие труды Г. С. Саблукова, в частности его перевод Корана.

Сестры Царь-пушки

У знаменитой кремлевской Царь-пушки, отлитой Андреем Чоховым, есть сестры. Они не так велики, но тоже отличаются тонкой художественной отделкой, тоже отлиты талантливым мастером А. Чоховым. Несколько таких пушек экспонируется в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Ленинграде.

Весьма любопытна судьба пушки Царь-Ахиллес. Во время войны России с Польшей в 1632—1634 годах пушка участвовала в осаде городов-крепостей Дорогобужа и Новгорода-Северского. Под Смоленском ее захватили поляки и вывезли в город Эльбинг. Во время Северной войны (1700—1721) шведские войска взяли город, а пушку перевезли в Стокгольм.

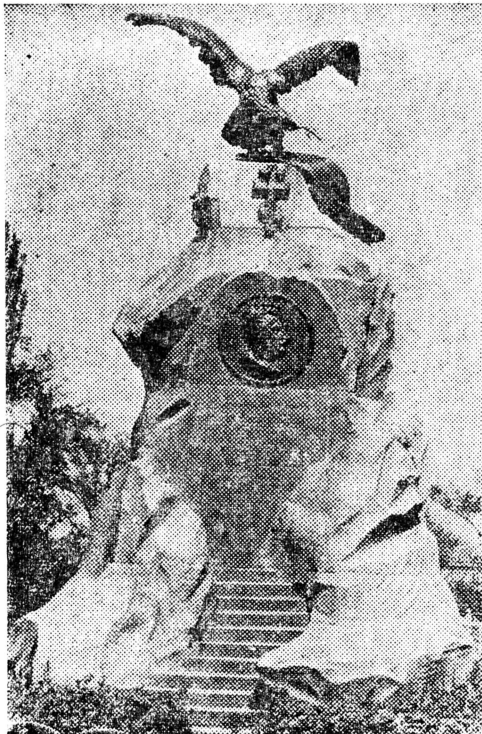
После окончания войны в шведскую столицу приехали русские купцы Ф. Аникиев и Н. Барсуков. В обмен на свои товары они выкупили чоховскую чудо-пушку, а также три других русских орудия и на кораблях доставили их в Петербург.

Пушка Инрог участвовала в осаде ливонских городов, а во время войны России с Польшей — в осаде Смоленска. Она также была захвачена вначале поляками, а затем шведами и также оказалась в Стокгольме. После окончания Северной войны пушку Инрог на кораблях перевезли в Петербург. Перед этим ее ствол распилили на три части. Затем в Санкт-Петербургском арсенале мастер Семен Леонтьев искусно сваял ствол.

Ирина ЛЕГОНЬКОВА,
Аркадий КОНТОРОВИЧ



Великому путешественнику



Великий русский путешественник, исследователь Средней и Центральной Азии Николай Михайлович Пржевальский совершил четыре экспедиции. После них он написал ценнейшие научные труды. В начале пятой, в 1888 году, Пржевальский внезапно заболел и, несмотря на свое богатырское здоровье и сложение — ростом он был 195 сантиметров, а весил 140 килограммов, — скоропостижно скончался в возрасте 49 лет.

Друзья выполнили его последнюю волю — похоронили на высоком берегу голубого Иссык-Куля, на гранитном камне просто написали: «Путешественник Н. М. Пржевальский» и годы его жизни — «1839—1888».

В 1894 году здесь был установлен памятник Н. М. Пржевальскому работы скульптора И. Н. Шредера. Именем великого путешественника назван самый большой город Прииссыккуля, центр Иссык-Кульской области.

В городе Пржевальске воздвигнут мемориальный музей Н. М. Пржевальского.

Александр РЫЖКОВ

Фото автора

На снимке: памятник Н. М. Пржевальскому.





Корова в такси

Житель деревни Паклино Степан Иванович изумился, когда из лихо развернувшейся у ограды его дома «Волги» вылезли два его недавних знакомого и... корова.

— Ну, хозяин, смотри Пеструшку! — будто и не замечая удивления Чуркина, оскалился водитель. — Жена море слез пролила, жалела. Да в городе, сам понимаешь, держать ее — одно мученье. Купи буренку!

Однако радость Чуркина была недолгой. Через неделю пришел участковый милиционер.

— А ну, Степан Иваныч, показывай свою ведерницу. — И закончив осмотр, покачал головой. — Где ж тебя угораздило ее купить?

— А что? — осыпшим голосом спросил Чуркин.

— А то, что краденая эта корова. Так, откуда ты ее привез?

— Мне ее привезли, Петрович. На такси.

— Что?! — Ты, видно, меня за дурака принимаешь? А, может, ее тебе сорока на хвосте принесла? Пожилой человек, а такое городишь...

В общем, друг друга не убедили. Вопрос вскоре нашли. Те показали следователю, как они везли корову в такси. Таксист тянул буренку за рога, его помощник стимулировал ее старания уколами шила. И корова легла на заднее сиденье, упершись передними ногами в спинку сиденья водителя. Задние ноги она вытянула вдоль правой стенки салона, возле, на откинтом сиденье, примостился «сопровождающий».

Обманчивая пена

Какие только задачи не ставит жизнь перед криминалистами!

Объектом их профессионального любопытства стала даже пена.

Один из судов Ленинграда рассматривал гдажданский спор по поводу картины «Бурное море». Бурные страсти разгорелись... Новый хозяин картины, коллекционер, хотел вернуть ее прежнему владельцу и получить обратно весьма крупную сумму, так как один известный художник высказал сомнение, что автор полотна — Айвазовский. Продавший картину деньги возвращать не хотел: мол, произведение подлинное, о чем и свидетельствует подпись Айвазовского в углу полотна, там, где море покрыто белой пеной.

Страсти еще более накалились, когда

четыре крупных художника не смогли прийти к единому мнению: одни признали картину подлинной, другие утверждали, что это подделка. Тогда суд решил привлечь к исследованию «Бурного моря» известного криминалиста А. Салькова. Тот заинтересовался пеной в углу картины, на которой была подпись художника. В таких подписях обычно не отражаются особенности почерка художника, и эксперт решил исследовать полотно в ультрафиолетовых лучах, для которых целый ряд веществ, и в частности краски, абсолютно прозрачны. В ультрафиолетовых лучах хлопья пены исчезли и проступила размазанная подпись настоящего автора картины. Стало ясно, что Айвазовский не имеет к «Бурному морю» никакого отношения.

Космическая утка

Каких только следов не оставили Земле космические пришельцы! Их следами пришлось заниматься... криминалистам. Начать придется издалека.

200 миллионов лет назад в районе, где стоит город Ухта, приземлился космический корабль. Им управляли, видимо, роботы, ибо наследили они довольно странно: оставили шестигранные следы с непонятными знаками.

Два таких следа извлек из разведочной скважины геолог С. Об этом эпохальном событии он поведал редакции «Комсомольской правды». Привезенная геологом проба породы со следами пришельцев была передана в Институт палеонтологии Академии наук СССР, сотрудники которого дали заключение, что отпечатки такого рода неизвестны мировой науке.

Назревала научная сенсация.

Чтобы исключить последние сомнения, редакция попросила заняться расшифровкой таинственных следов не археологов, а криминалистов. Было установлено, что «инопланетяне» наследили около Ухты головкой современного болта под ключ 12 мм, причем оттиски были оставлены на влажном куске мергеля, который от смачивания размягчается. Таким болтом криминалисты и сами оставили на камне следы, которые не отличались от «космических».

Сенсация не состоялась. Бдительная редакция «Комсомолки» сама же подстрелила газетную утку, не дав ей взлететь.

Евгений ИЩЕНКО



Подлодка

из пластмассы

В Северном море успешно закончились испытания первой подводной лодки из пластмассы. Лодка «Виккерс» длиной 6,5 метра, сконструированная английскими инженерами, погружается на глубину более 180 метров.

Преимущество нового материала — в полном исключении коррозии и меньшем весе, что позволило увеличить полезный груз почти на одну тонну, а это дает возможность большее время находиться под водой и лучше оснастить судно приборами. Другим достоинством пластмассовой конструкции является уменьшение конденсации водяных паров внутри лодки.



Канал Древнего Египта

Суэцкий канал, соединяющий Красное море со Средиземным, как оказалось, был уже однажды прорыт древними египтянами, а потом разрушен кочевниками. Как сообщает американский журнал «Тайм», это обнаружилось во время аэрофотосъемки дельты реки Нил. Геологи нашли под слоем песка насыпи и дамбы. Античный канал имеет в ширину 60 метров и глубину от двух до трех метров, что было вполне достаточно для прохода древних барж.



В честь великого писателя

Впервые почтовые марки, посвященные Л. Н. Толстому, были выпущены в декабре 1935 года, в связи с 25-летием со дня смерти писателя. На первой Лев Николаевич изображен еще молодым, по фотографии 1868 года, на второй — по фотографии В. Г. Черткова 1906 года, на третьей марке — скульптура И. Я. Гинзбурга, сделанная в 1908 году.

В сентябре 1953 года, к 125-летию со дня рождения Л. Н. Толстого, Министерство связи СССР выпустило почтовую миниатюру с портретом писателя за работой — по известной картине Н. Ге.

В 1956 году была издана серия «Писатели нашей Родины». Л. Н. Толстой на марке этой серии изображен на фоне иллюстрации к «Войне и миру» — ночного привала русской армии.

Затем, к 50-летию со дня смерти писателя, была издана серия из трех марок с портретами Л. Н. Толстого.

Почтовые марки, посвященные гениальному писателю, были выпущены также в Венгрии, в Чехословакии, в Румынии...

Наум ШВАРЦМАН



Быстрый экскаватор



Уралмашевские инженеры и рабочие вновь сделали нечто необычное в технике — самый мощный в мире электрогидравлический экскаватор с ковшом емкостью двенадцать кубометров. Более шести тонн масла под давлением двести пятьдесят атмосфер течет в «жилах» выскоподвижной машины. И она работает легко и точно, как рука человека: опытный экскаваторщик может ковшом закрыть спичечный коробок... Новый экскаватор, зачерпывая уголь или руду за тридцать секунд, «перелопатит» в год около пяти миллионов горной массы.

Появление уралмашевского ГЭ-12 в карьерах страны совпадает с началом производства самосвалов грузоподъемностью сто восемьдесят тонн. ГЭ-12 и большегрузные самосвалы увеличат поток минерального сырья на перерабатывающие предприятия страны.

Более ста лет в мире используются мощные экскаваторы, в основном — канатные. Уральцы впервые создали надежную гидравлическую систему для крупной землеройной техники без традиционных канатов.

Цветное фото
Э. Котлякова



Ср шш



ЧИТАЙТЕ В 1979 ГОДУ

Нескладно сложилось житье-бытье у Кольки Усова: четыре раза сбежал из дома, замешан в драках и краже, мать пишет заявления, чтобы милиция обратила внимание на ее непутевого сына. И вот воспитатель листает куцее «личное дело» Усова, беседует с ним, пытается понять мальчишку, уже повидавшего и хороших людей, и, прямо скажем, не очень. Видит — помыкался паренек по белому свету, хлеб-

нул и лиха, и радости, сумел проявить себя в труде, в геологической партии. Вся небольшая, полная разностей Колькина жизнь постепенно проступает перед воспитателем, и тот задумывается вдруг над обычной протокольной фразой: была причина ухода Кольки из дома или нет!

О Кольке Усове — трудном подростке — написал нам молодой автор Юрий ТЕШКИН.

Над новыми произведениями для журнала заканчивают работу уже известные нашему читателю писатели Сергей Бетев, Валентин Новиков, Борис Алмазов, Владислав Крапивин. Как всегда, мы будем публиковать молодых авторов с их первыми рассказами и повестями.

Долгие годы Михаил Черенок — сибирский прозаик — был в суде народным заседателем. Можно представить, сколько судеб, сколько характеров пришлось ему изучить. Закономерно пришел он к циклу повестей, где основным героем стал работник милиции Антон Бирюков. Нашему жур-

налу Михаил ЧЕРЕНОК предложил свою новую детективную повесть «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ», где Антона Бирюкова мы встречаем уже в должности начальника уголовного розыска райотдела. Он участвует в поисках и задержании опасного преступника.

Читателям нашего журнала памятно произведение уральского писателя Николая Никонова. Мы получили много откликов и на его последнюю публикацию «Золотой дождь». В следующем году журнал опубликует новую повесть Николая НИКОНОВА «СЛЕД РЫСИ». Повесть написана с присущей автору страстностью, полемичностью, бесконечной любовью к родной природе.

Широко будет представлена фантастика. Помимо рассказов, викторин, занимательных информаций, предполагается публикация двух фантастических повестей: «ОБЛАКО, ЗОЛОТАЯ ПОЛЯНКА» Владимира СОКОЛОВСКОГО и «СЕЗОН ТУМАНОВ» Евгения ГУЛЯКОВСКОГО.

быту, который наблюдает Гена Тютиков, инспектор райфинотдела Малых Овражков.

Первая — сказка в письмах. Она подкупает юмором, лиричностью, неторопливостью повествования — под стать тому

А с героями «Сезона туманов» мы попадаем в круговорот сложных и трагических событий на планете Гидра, где экипажу космического корабля землян нужно выяснить, что произошло с первой экспедицией на загадочную планету, почему были посланы полные боли и упрека три слова: «Помощи не дождались...»

